



Чарльз Диккенс
**ИЗ АМЕРИКАНСКИХ
ЗАМЕТОК**

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Д 454

**ИЗ АМЕРИКАНСКИХ
ЗАМЕТОК**

Перевод с английского
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1950

На обложке
гравюра художника
А. Н. Павлова

~~1967-68 г.~~

~~41504~~

~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА~~

696580 кх ред

Российская государственная
детская библиотека

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1842 году выдающийся английский писатель Чарльз Диккенс (1812—1870) предпринял путешествие в Америку. К этому времени он уже приобрел широкую известность как автор реалистических романов, обличавших буржуазную Англию. Отправляясь по ту сторону Атлантики, Диккенс думал увидеть в Соединенных Штатах политическую систему более человечную и справедливую, чем в его собственной стране. Он поверил буржуазным писакам, всячески превозносившим американскую «демократию», и думал извлечь из своей поездки много поучительного для себя и своих соотечественников.

Официальные американские круги устроили Диккенсу торжественную встречу, они намеревались отвлечь его внимание от теневых сторон американской жизни, лестью и рекламной шумихой заставить популярного писателя говорить только то, что им было угодно. Диккенсу показывали образцовые учреждения, его сопровождали хорошо обученные для этого случая гиды. Но слишком уж разительно было несоответствие торжественных речей и заверений со всем, что содержала в себе американская действительность. Достаточно было заглянуть в американские газеты, чтобы увидеть, кто и как создает в Америке общественное мнение; достаточно было посетить сенат и конгресс, чтобы увидеть лицо подлинных хозяев страны. Самая кратковременная поездка по южным штатам давала возможность убедиться в существовании отвратительного, ничем не прикрытого рабства.

Иллюзии Диккенса в отношении «американского рая» быстро развеялись, и 22 марта 1842 года он писал своему другу актеру Макриди: «Да, я разочарован. Это не та республика, которую я думал увидеть; не та республика, которая представлялась мне в воображении... Я вспоминаю, Макриди, как вы несколько раз говорили, что думаете поселиться здесь. Вы? Здесь? Любя вас всем

сердцем и душой и зная ваши естественные наклонности, я бы ни за какие деньги не приговорил вас к тому, чтобы вы прожили хотя бы год по эту сторону Атлантики. Свобода мнений! Где она? Я вижу прессу — более низкую, ничтожную, и глупую и позорную, чем в любой известной мне стране...»

Вернувшись в Англию, Диккенс опубликовал «Американские заметки» (1842), а несколько позднее роман «Мартин Чезлвит» (1844) — два произведения, в которых разоблачалась лживая легенда об «американском рае».

С момента опубликования «Американских заметок» прошло более ста лет. Аппетиты американского капитала неизмеримо возросли, и он претендует сегодня на мировое господство. Во времена Диккенса Америка знала рабство негров, ныне американские монополисты мечтают превратить в своих послушных рабов целые народы. Но уже тогда Диккенс мог наблюдать дикие политические нравы, характерные для сегодняшней Америки. В конгрессе, пишет Диккенс, «я увидел... колесики,двигающие самое искаженное подобие честной политической машины, какое когда-либо изготавляли наихудшие инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисный подкуп государственных чиновников; трусливые нападки на противников, когда щитами служили грязные газетки, а кинжалами — наемные перья; постыдное пресмыкательство перед корыстными плутами, которые домогаются возможности ежедневно и ежечасно сеять при помощи своих продажных слуг новые семена гибели... Поощрение и подстрекательство к развитию всякой дурной склонности в общественном сознании и искусное подавление всех хороших влияний; все это — иначе говоря, бесчестные интриги в самой гнусной и бесстыдной форме — глядело из каждого уголка переполненного зала».

Во времена Диккенса, как и теперь, американская пресса слепо выполняла волю своих хозяев. С возмущением говорит Диккенс о продажных газетках, организующих так называемое общественное мнение: «До тех пор, пока американские газеты будут представлять собой такое же или почти такое же гнусное явление, как сейчас, нет никакой надежды на сколько-нибудь значительное повышение морального уровня американского народа. С каждым годом страна должна и будет идти вспять, с каждым годом будет понижаться общественное сознание, с каждым годом конгресс и сенат будут все меньше значить в глазах всех порядочных людей, и вырождающееся потомство своими дурными делами будет все больше позорить память великих отцов революции».

Постыдная расовая дискриминация негров, индейцев и других малых народов, столь характерная для политического облика ны-

нешней Америки, имеет свою длительную историю. Диккенс собрал множество документов, изобличающих американских рабовладельцев, он убедительно показал, как глубоки корни расового высокомерия американского буржуа.

Как ни правдив Диккенс в своих оценках американской действительности, он порою стремится смягчить свои суждения, часто оказываясь бессильным сделать нужные исторические обобщения. Буржуазная ограниченность взглядов самого писателя сказалась на общих выводах его книги. Не видя исторической силы, которая могла бы противостоять всем гнусностям буржуазного общества, Диккенс тем не менее понял, что капиталистическая Америка, как и капиталистическая Англия, несет с собой неисчислимые страдания простому народу.

ОТЪЕЗД

Я никогда не забуду того чувства на четверть тревожного и на три четверти веселого изумления, с которым я утром третьего января тысяча восемьсот сорок второго года приоткрыл дверь спальной каюты на борту пакетбота «Британия», водоизмещением в тысячу двести тонн, направлявшегося в Галифакс и Бостон с грузом почты ее величества.

Что эта каюта отведена специально для «Чарльза Диккенса, эсквайра, с супругой» было достаточно ясно даже для моего потрясенного рассудка, поскольку об этом извещала крохотная записка, приколотая к очень тонкому ватному одеялу, покрывавшему очень тощий матрас, который лежал на совершенно недостижимой полке, подобно слою хирургического гипса. Но что именно это и есть та каюта, по поводу которой Чарльз Диккенс, эсквайр, с супругой совещались и днем и ночью в течение, по меньшей мере, четырех предшествующих месяцев; что такую могла оказаться та маленькая уютная комнатка, которую Чарльз Диккенс, эсквайр, рисовал себе в мечтах, окрыленный пророческим вдохновением, предсказывая, что в ней будет стоять, по меньшей мере, одна кушетка, тогда как его супруга, придерживаясь более скромного, но все же преувеличенного мнения о ее размерах, с самого начала сомневалась, поместится ли в каком-нибудь укромном уголке более двух огромных сундуков (сундуки эти было бы так же невозможно не только разместить, но хотя бы протащить сейчас в каюту, как невозможно убедить или заставить жирафа влезть в цветочный горшок); что эта крайне неудобная, безнадежно

унылая и совершенно нелепая коробка имеет хотя бы отдаленное отношение или касательство к изящным, красивым, я уж не говорю роскошным, маленьким будуарам, мастерски изображенным на ярко раскрашенной литографии, висевшей в конторе агента в Лондоне; словом, что эта каюта может быть чем-то иным, кроме веселой мистификации, забавной шутки капитана, задуманной и осуществленной для того, чтобы пассажир испытал больше удовольствия и наслаждения при виде настоящей спальной каюты, — все эти истины я в тот момент, право, не мог заставить себя воспринять и постичь. И я сел на нечто вроде насеста или валика из конского волоса, — каковых в каюте было два, — и абсолютно без всякого выражения на лице посмотрел на своих друзей, которые вместе с нами взошли на борт пакетбота и теперь строили самые невероятные гримасы, пытаясь просунуть головы в открытую дверцу каюты.

Перед тем как сойти в каюту, мы пережили изрядное потрясение, которое, не будь мы величайшими оптимистами, могло бы подготовить нас к самому худшему. Художник с пылкой фантазией, о котором я уже упоминал, изобразил в том же великом произведении залу почти беспредельной глубины, обставленную, как сказал бы мистер Робинс, с более чем восточным великолепием, где толпились (но не теснились) веселые и оживленные дамы и мужчины. Собираясь спуститься в чрево судна, мы прошли с палубы в длинное узкое помещение, напоминающее гигантский катафалк с окнами по сторонам; в дальнем конце его виднелась унылая печь, у которой грели руки три или четыре продрогших стюарда, а во всю его безотрадную длину вдоль стен стояли длинные-предлинные столы и над каждым из них — привинченная к низкому потолку полка с гнездами для стаканов и посуды, что наводило на мрачные мысли о бушующем море и штормовой погоде. В то время я еще не успел познакомиться с идеальным изображением этой комнаты, доставившим мне впоследствии столько удовольствия, но я заметил, как один из наших друзей, оказавший нам большую помощь в подготовке путешествия, войдя в нее, побледнел, затем, попятившись, наступил на ногу тому, кто стоял позади, и, невольно хлопнув себя по лбу, пробормотал: «Немыслимо! Не может быть!» или что-то в этом роде. Однако, сделав страшное усилие, он взял себя в руки,

кашлянул разок-другой и громко произнес, озираясь по сторонам с жуткой улыбкой, которую я до сих пор не могу забыть: «Скажите, стюард, это, верно, комната, где подают утренний завтрак?» Мы все предвидели, каков будет ответ; нам были понятны переживаемые им мучения. Он часто говорил о кают-компании, поверил картине, висевшей в лондонском агентстве, и ею питал свое воображение. Чтобы составить себе правильное представление об этой зале, — обычно пояснял он нам еще дома, — необходимо в семь раз увеличить размеры обыкновенной гостиной и количество стоящей в ней мебели, — и даже этого окажется недостаточно. Когда же стюард в ответ изрек истину — грубую, беспощадную, голую истину — «это кают-компания, сэр», мой друг буквально зашатался от нанесенного ему удара.

Когда людям предстоит вот-вот расстаться с теми, кого они привыкли встречать ежедневно, когда их вскоре должен разделить барьер в виде многих тысяч миль бурного водного пространства и поэтому хочется, чтобы ни одно облако, ни одна мимолетная тень минутного разочарования или смущения не омрачили тех счастливых минут, что еще осталось провести вместе, — в таких обстоятельствах люди естественно спешат перейти от первоначального удивления к взрывам искреннего смеха. Могу сообщить, что я в частности, сидя на вышеупомянутом валике, или насесте, разразился неистовым хохотом и хохотал до того, что судно задрожало. Таким образом, менее чем через две минуты после нашего первого знакомства с каютой, все мы согласились на том, что она — самое приятное, самое прелестное и самое удобное помещение, какое только можно придумать, и было бы весьма неприятно и прискорбно, если бы она оказалась хоть на дюйм больше. После чего, продемонстрировав, каким образом можно втиснуться в нее четверым одновременно, — если дверь почти совсем закрыть и проползать в нее, извиваясь, как змеи, и если маленькую нишу с умывальником считать площадью для одного из присутствующих, — мы стали убеждать друг друга обратить внимание на то, какой тут свежий воздух (во время стоянки), и какой тут чудесный иллюминатор, который можно целый день держать открытым (если позволяет погода), и какой большой фонарь висит как раз над зеркалом, благодаря чему бритве будет представ-

лять собой крайне легкую и приятную процедуру (когда судно не слишком качает), — и пришли, наконец, к единодушному выводу, что каюта не мала, а скорее просторна. Однако я вполне уверен, что за вычетом двух коек, — расположенных одна над другой и таких узеньких, что, пожалуй, только в гробу спать еще теснее, — каюта была не больше одного из тех наемных закрытых кабриолетов с дверцей позади, из которых седоки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем.

Разрешив этот вопрос к полному удовлетворению всех заинтересованных и незаинтересованных сторон, мы уселись вокруг огня в дамской каюте, — просто, чтобы посмотреть, как это получится. Было, правда, довольно темно, но кто-то сказал: «Конечно, в открытом море будет светлее», с чем мы все согласились, повторяя: «Конечно, конечно», хотя было бы весьма трудно сказать, почему мы так думали. Обнаружив и всесторонне обсудив еще одно утешительное обстоятельство, а именно: что дамская каюта примыкает к нашей, благодаря чему мы имеем неограниченные возможности сидеть в этой каюте при любых условиях, — мы, помнится, погрузились в минутное молчание, подперев подбородки руками и глядя в огонь, и тогда один из нас сказал с торжественным видом человека, сделавшего открытие: «Как вкусен будет здесь глинтвейн из красного вина!» Это открытие чрезвычайно поразило нас, как будто в воздухе кают есть нечто пикантное и изысканно благоуханное, что существенно улучшает этот напиток, тогда как в любом другом месте его невозможно довести до подобного совершенства.

Тут же вертелась горничная, которая с большим рвением извлекала чистые простыни и скатерти из недр диванов и из самых неожиданных местилец такого хитроумного устройства, что голова начинала кружиться при виде того, как они раскрывались одно за другим. Следить за движениями горничной было истинным развлечением: выяснилось, что каждый уголок и закоулок, каждый предмет обстановки был в действительности совсем не тем, чем казался на первый взгляд, а представлял собой ловушку, скрытый фокус или тайник и что использовать ту или иную вещь по ее видимому назначению было бы наименее целесообразно.

Да благословит бог эту горничную за ее благонамеренное жульничество, каким явился ее рассказ о морских путешествиях в январе! Да благословит ее бог за то, с какой ясностью она припомнила все подробности прошлогоднего плавания, когда никто не был болен, и все танцевали с утра и до вечера, и весь «переход» длился всего двенадцать дней — веселая, чудесная поездка, чистое удовольствие! Да ниспошлет он ей счастье за ее сияющую улыбку и приятный шотландский выговор, который напоминал моей спутнице милые родные края, а также за ее предсказания о попутном ветре и хорошей погоде (ни одно из них не сбылось, — но тем милей она кажется мне сейчас) и за те бесчисленные проявления подлинно женского такта, с помощью которых ей удалось с полной ясностью доказать, что молодым матерям, находящимся по одну сторону Атлантического океана, рукой подать до своих детишек, оставшихся по другую его сторону; а то, что непосвященному человеку кажется нешуточным путешествием, для посвященных — всего лишь пустая забава. Пусть долгие годы будет легко на душе у этой девушки, и пусть ничто не омрачает ее веселого взгляда.

Каюта ширилась и росла у нас на глазах: к этому времени она превратилась в нечто совершенно грандиозное, и иллюминатор казался чуть ли не зеркальным окном, из которого можно обозревать морские пейзажи. Итак, мы снова вышли на палубу в наилучшем настроении; а там велась такая кипучая и деятельная подготовка к отплытию, что при виде ее поневоле становилось весело на душе и кровь бурлила и быстрее бежала по жилам в это ясное морозное утро. И каждое величавое судно медленно покачивалось на волнах, и каждое маленькое суденышко с шумом плескалось в воде, а на пристани стояли толпы народа, которые с каким-то трепетом и восхищением взирали на знаменитый быстроходный американский пароход. Несколько человек «принимали на борт молоко, или, иначе говоря, загоняли на пароход корову; другие — доверху набивали ледники свежей провизией: мясом и зеленью, бледными тушками молочных поросят, десятками телячьих голов, бычьими, телячьими и свиными тушами и несметным количеством дичи; третьи — укладывали в бухты канаты и возились с конопатью; четвертые — спускали в трюм тяжелые грузы,

а за огромной грудой пассажирского багажа едва виднелась голова кладовщика, взиравшего на все с видом полнейшей растерянности; и казалось, нигде, а главное — ни в чьих мыслях нет места ничему, кроме приготовлений к этому внушительному путешествию. Все было неотразимо прекрасно: и яркое холодное солнце, и бодрящий воздух, и покрытая рябью вода, и на палубе тонкая белая корочка утреннего ледка, который ломается с резким и веселящим душу хрустом, едва на него ступишь. А когда мы снова очутились на берегу и, обернувшись, увидели на мачте веселые яркие флажки, сочетание которых позволяло прочесть название судна, а рядом с ними полоסקавшийся на ветру красивый американский флаг с его полосами и звездами, нам вдруг показалось, будто все это — и огромное расстояние в три с лишним тысячи миль, и долгие шесть месяцев отсутствия — промелькнуло и растаяло в тумане прошлого; будто судно отплыло в Америку и снова вернулось обратно, и уже наступила весна, и мы только что прибыли в Кобургский док в Ливерпуле.

Я не спросил своих знакомых из медицинского мира, действительно ли при переездах по морю специально рекомендуется суп из черепахи и холодный пунш из рейнвейна, шампанского и красного вина, а также прочая всякая всячина, обычно в неограниченных количествах входящая в меню хорошего обеда, — в особенности если это меню полностью предоставлено на усмотрение моего непогрешимого друга мистера Редли из отеля Аделфи. Или, может быть, простой кусок баранины и стаканчик другой хереса были бы менее способны превратиться в инородное вещество, вызывающее неприятное ощущение? Мне лично кажется: проявляет ли человек умеренность или невоздержность накануне путешествия по морю — это не имеет существенного значения, ибо, как говорится: «Конец всегда один и тот же». Но как бы там ни было, я знаю, что обед в тот день был несомненно превосходный и состоял он из всех перечисленных выше блюд и множества других, которым мы с удовольствием воздали должное. И мы прекрасно провели время и даже веселились по мере сил и возможности, но только, как бы по молчаливому уговору, избегали каких-либо упоминаний о завтрашнем дне — как это бывает, вероятно, между сердобольными тюремщиками

и слабонервным узником, которого должны повесить на следующее утро.

Когда же настало утро — то утро, и мы встретились за завтраком, было прямо забавно наблюдать, как все старались поддержать разговор, чтобы он ни на минуту не прекращался, и как все были необыкновенно веселы. Вымученное остроумие каждого члена нашей маленькой компании было столь же похоже на его обычную веселость, как запах горошка, выращенного в оранжерее и продаваемого по пяти гиней за кварту, напоминает разлитый в воздухе аромат цветущих лугов и вспоенной дождем земли. Но по мере того как стрелка часов приближалась к часу дня — мгновению, когда надлежало подняться на борт, — этот поток красноречия, несмотря на самые отчаянные усилия, стал мало-помалу иссякать, пока, наконец — поскольку стало ясно, что все эти попытки тщетны, — мы не отбросили всякое притворство и не начали вслух размышлять о том; где мы будем в это время завтра, послезавтра и так далее. Мы вручили тем, кто намеревался вернуться в город в тот же вечер, великое множество всяких посланий, которые следовало непременно передать нашим родным и знакомым возможно скорее после прибытия поезда на вокзал Юстон-Сквер. В подобные минуты вспоминаешь всегда кучу важных дел и необходимых поручений, и мы все еще были заняты этим, когда вдруг обнаружили, что уже крепко-накрепко впаяны в сплав, состоящий из пассажиров, их друзей и их багажа, и вместе с этим сплавом переместились на палубу маленького пароходика, который, конвульсивно вздрагивая и пыхтя, двинулся по направлению к пакетботу, вышедшему вчера днем из дока и стоявшему сейчас поодаль на якоре.

Вот он! Все взоры устремлены на пакетбот, очертания которого расплываются в сгущающемся тумане зимнего дня; все указывают рукой в одном направлении, и со всех сторон слышны любопытные и восторженные возгласы: «О, какой красивый!», «Какой нарядный!» Даже ленивый джентльмен в шляпе набекрень, который весьма успокоительно подействовал на многих, когда, засунув руки в карманы и позевывая, с небрежным видом спросил другого джентльмена, «едет ли и он на ту сторону», как будто речь шла о переезде через реку на пароме, — даже и этот джентльмен снисходительно бросает взгляд

в сторону пакетбота и кивает головой, словно говоря: «Ну, тут дело чистое». Даже в кивке мудрого лорда Берли¹ не заключалось и половины многозначительности, присущей этому всемогущему ленивому джентльмену, который (неизвестно откуда, но это уже знали все, находившиеся на борту) тринадцать раз пересек океан без единого неприятного происшествия! Есть тут и еще один пассажир, закутанный с головы до пят; при виде его остальные хмурятся, уничтожая его презрительными взглядами; говорят, он робко поинтересовался, давно ли пошел ко дну бедный «Президент». Он стоит рядом с ленивым джентльменом и со слабой улыбкой выражает надежду, что *эта штука* очень крепкое судно. А ленивый джентльмен, взглянув сначала вопрошающему в глаза, а затем пытливо посмотрев в направлении ветра, неожиданно и зловеще отвечает, что тем лучше, если это так. Немедленно после этого ленивый джентльмен низко падает в глазах общества, и пассажиры, пренебрежительно поглядывая на него, нашептывают друг другу, что он осел и мошенник и явно ничего не смыслит в таких вещах.

Но вот мы пришвартовались к пакетботу, огромная красная труба которого храбро дымит, многообещающе заверяя в его серьезных намерениях. Уже из рук в руки передают ящики, сундуки, саквояжи и картонки, и все это с головокружительной быстротой погружается на судно. Офицеры в нарядной форме стоят у трапа, помогая пассажирам взобраться на палубу и поторапливая матросов. Через пять минут маленький парходик совсем опустел, а пакетбот забит до краев живым грузом, мгновенно заполонившим весь корабль. В каждом уголке и закоулке — десятки пассажиров; они ползут внутрь судна со своим багажом, спотыкаясь по дороге о чужой; удобно располагаются не в тех каютах, где следует, и создают ужасающий переполох, когда приходится исправлять ошибку; с яростью дергают ручку запертой двери или пытаются пройти там, где нет прохода; засыпают невыполнимыми поручениями растрепанных очумелых стюардов, заставляя их бегать взад и вперед по палубам, где свищет ветер, — короче говоря, создают невообразимую одуряющую суматоху. И среди всего этого по

¹ Английский государственный деятель XVI в.

штурмовому мостику, хладнокровно попыхивая сигарой, прогуливается ленивый джентльмен, как видно, не обремененный ни багажом, ни провожающими; и это независимое поведение снова возвышает его в глазах тех, у кого хватает времени наблюдать за ним, и всякий раз, как он бросает взгляд вверх, на мачты, или вниз, на палубу, или за борт, они смотрят в том же направлении, как бы спрашивая себя, не видит ли он там чего-либо подозрительного, и надеясь, что он будет столь любезен сказать им, если действительно что-нибудь не так.

Что это там? Капитанская шлюпка, а вот и сам капитан! Он как раз таков, каким мы хотели бы и надеялись его видеть! Ладно скроенный, плотный, подвижной человек с румяным лицом, при взгляде на которое хочется пожать ему обе руки сразу, и с ясными честными голубыми глазами, в которых приятно увидеть собственное искрящееся отражение.

— Давайте сигнал!

«Дин, дин, дин» — даже сам колокол торопится.

— На берег, — кому на берег?

— Джентльмены, прошу вас.

Они уже ушли и даже не попрощались. А теперь они машут руками и кричат с пароходика: «До свидания, до свидания!» Троекратные приветствия с пароходика, троекратные приветствия с нашего корабля; снова троекратные приветствия с пароходика, и они исчезли из виду.

Взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед сотни раз! Это ожидание последних мешков с почтой хуже всего. Если бы мы могли отплыть под приветственные возгласы провожающих, то поездка наша началась бы подобно триумфальному шествию, но стоять на якоре в течение двух часов и даже больше, затерявшись в мокром тумане, уже не находясь дома и еще не отплыв на чужбину, — тут всякий поневоле погрузится в пучину скуки и черной меланхолии. Но вот, наконец, — точка в тумане! Что-то движется. Да это ж пароходик, которого мы ждем! Вот это кстати! На капитанском мостике показывается сам капитан с большим рупором; офицеры занимают свои места; все матросы наготове; гаснущие надежды пассажиров оживают; повара приостанавливают свою аппетитную работу и с интересом выгляды-

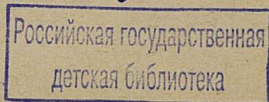
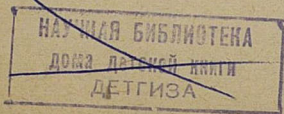
вают из дверей камбуза. Пароходик подходит к пакетботу; на палубу кое-как втаскивают мешки с почтой и пока что бросают куда попало. Снова троекратные приветствия, и едва первый звук их достигает наших ушей, судно вздрагивает, подобно могучему великану, в которого только что вдохнули жизнь; два его огромных колеса с силой делают первый оборот, и благородный корабль, подгоняемый ветром и течением, гордо рассекает бурлящие и пенящиеся воды.

К БЕРЕГАМ АМЕРИКИ

В тот день мы обедали все вместе; и компания была не малая: не менее восьмидесяти шести человек. Судно, имея на борту полный запас угля и большое количество пассажиров, сидело в воде довольно глубоко, погода была безветрена, море спокойно, и качка ощущалась лишь слегка, так что уже к середине обеда даже те из пассажиров, кто был наименее уверен в себе, удивительно осмелели; те же, кто поутру на традиционный вопрос: «Хороший ли вы моряк?» — давали категорически отрицательный ответ, теперь либо парировали вопрос уклончивым: «Полагаю, что я не хуже любого другого», либо, пренебрегая всякими моральными принципами, смело отвечали: «Да», причем делали это с некоторым раздражением, словно хотели добавить: «Хотел бы я знать, сэр, что вы заметили именно во мне такого, что могло бы оправдать ваши подозрения?»

Несмотря на этот бодрый тон, преисполненный мужества и уверенности, я не мог не заметить, что лишь очень немногие задержались после обеда за бокалом вина; все проявляли необычайное пристрастие к свежему воздуху, а излюбленными местами, которых больше всего домогались, неизменно были места поближе к двери. За чаем было куда менеелюдно, чем за обедом, и игроков в вист оказалось меньше, чем можно было ожидать. Все-таки, за исключением одной дамы, удалившейся с некоторой поспешностью из-за обеденного стола тотчас после того, как ей был подан отменный кусок очень желтой отварной баранины с очень зелеными каперсами, никто пока не поддавался нездоровью. Рас-

696520



хаживание, и курение, и потягивание коньяка с водой (но всегда и только на открытом воздухе) продолжались с неослабным усердием часов до одиннадцати, когда пришло время «сойти в каюту» — ни один мореход, имеющий за плечами семичасовой опыт, не скажет «пойти спать». Непрестанный стук каблуков по палубе сменился глубокой тишиной; весь человеческий груз был убран в нижние помещения, за исключением очень немногих полуночников вроде меня, которым, вероятно, как и мне, было страшно туда отправляться.

На человека непривычного ночь на борту судна производит большое впечатление. Даже впоследствии, когда это впечатление потеряло свою новизну, оно еще долго сохраняло для меня свою особую прелесть и очарование. Мрак, сквозь который огромная черная глыба прямо и уверенно держит свой курс; отчетливо слышный плеск невидимых волн; широкий белый, пенистый след, оставляемый судном; вахтенные на баке, различимые на фоне темного неба только потому, что они заслоняют дюжину-другую сверкающих звезд; рулевой у штурвала и перед ним развернутая карта — пятнышко света среди тьмы, словно нечто одухотворенное, одаренное божественным разумом; меланхолические вздохи ветра в блоках, канатах и цепях; струйки света, пробивающиеся из каждой щели и скважины, сквозь каждое стеклышко надпалубных строений, как будто корабль наполнен скрытым огнем, готовым вырваться через любую отдушину во всем неистовстве своей губительной разрушительной силы. Кроме того, по началу — и даже позднее, когда привыкаешь и к ночи и к тому, что все предметы в ней приобретают какую-то особую торжественность, — трудно, оставаясь наедине со своими мыслями, воспринимать предметы в их обыденном виде и форме. Они изменяются по воле воображения; принимают образы вещей, оставленных где-то далеко; приобретают хорошо памятные очертания любимых, дорогих сердцу мест и даже населяют их тенями. Улицы, дома, комнаты, человеческие фигуры, настолько схожие с действительными, что это сходство поражало меня, не подозревавшего в себе такой способности видеть мысленным взором отсутствующих, — все это много, много раз внезапно возникало из предметов, чей настоящий облик, употребление и назначение я знал как свои пять пальцев.

Однако, поскольку в данном случае мои пальцы как на руках, так и на ногах очень озябли, я в полночь сполз вниз. Внизу было не слишком уютно. Воздух казался спертым, и невозможно было не замечать наличия той необычайной смеси странных запахов, которая встречается только на борту судна и представляет собою столь острый аромат, что он, кажется, проникает в каждую пору кожи, напоминая вам о корабельном трюме. Две жены пассажиров (одна из них моя) уже лежали, в безмолвных муках, на диване, и горничная одной из жен (*моей* жены) валялась на полу, как узел тряпья, проклиная свою судьбу и тряся папильотками среди разбросанных чемоданов. Все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях, и уже это одно создавало неодолимые препятствия. Я только что оставил дверь открытой у подножия некоего склона; когда же я повернулся, чтобы закрыть ее, она оказалась на его вершине. Все планки и шпангоуты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих сучьев. Оставалось только одно — лечь в постель, что я и сделал.

Следующие два дня прошли примерно так же — с умеренно-свежим ветром и без дождя. Я много читал в постели (но и по сей день не знаю, что именно) и не надолго выходил побродить по палубе; с невыразимым отвращением пил коньяк с холодной водой и упорно грыз твердые галеты: я не был болен, но явно собирался заболеть.

Настает третье утро. Меня пробуждает от сна отчаянный вопль моей жены, желающей знать, не грозит ли нам опасность. Я приподымаюсь и выглядываю из постели. Кувшин с водой ныряет и прыгает, как резвый дельфин; все небольшие предметы плавают, за исключением моих башмаков, севших на мель на саквояже, словно пара угольных барж. Внезапно они подпрыгивают в воздух, а зеркало, прибитое к стене, у меня на глазах прилипает к потолку и прочно там обосновывается. В то же время дверь совсем исчезает, и новая дверь открывается в полу. Тогда я начинаю понимать, что каюта стоит вверх ногами.

Еще не успели вы как-то приспособиться к этому новому положению вещей, как судно выпрямляется. Не успели вы молвить «слава богу!», как оно снова накре-

няется. Не успели выкрикнуть, что оно накренилось, как вам уже кажется, что оно двинулось вперед, что это — живое существо с трясущимися коленями и подкашивающимися ногами, которое несется само по себе, непрестанно спотыкаясь, по всевозможным колдобинам и ухабам. Не успели вы удивиться, как оно подпрыгивает высоко в воздух. Еще не завершив прыжка, — уже ныряет глубоко в воду. Еще не выбравшись на поверхность, — выделяет сальтомортале. Едва успев снова встать на ноги, — стремительно кидается назад. И так оно двигается — шатаясь, вздымаясь, опускаясь, борясь, прыгая, ныряя, подскакивая, подрагивая, переваливаясь и покачиваясь и проделывая эти движения иногда по очереди, а иногда и все сразу, пока вы не почувствуете, что готовы взречь о пощаде.

Проходит стюард.

— Стюард!

— Сэр?

— *Что* происходит? Как это по-вашему называется?

— Довольно сильное волнение, сэр, и встречный ветер.

Встречный ветер! Представьте себе носовую часть корабля в виде человеческого лица и вообразите некоего Самсона, могучего, как пятнадцать тысяч Самсонов, который стремится отбросить корабль назад и наносит ему удары прямо в переносицу, как только тот пробует продвинуться хотя бы на дюйм. Представьте самый корабль — все вены и артерии его громадного тела вздулись и готовы лопнуть под жестоким напором противника, но он поклялся пройти или погибнуть. Представьте вой ветра, рев моря, потоки дождя, неистовство стихий, восставших против него. Вообразите небо, темное и бурное, и облака, в дикой гармонии с волнами образующие новый океан в воздухе. Добавьте ко всему этому грохот на палубе и под ней; поспешный топот ног; громкие хриплые голоса моряков; бульканье воды, вливающейся и выливающейся через шпигаты; и время от времени — тяжелый удар волны о палубный настил над вашей головой, точно мертвенный, глухой, тяжкий отголосок громового раската в склепе, — это и будет встречный ветер в то январское утро.

Я умалчиваю о том, что можно назвать местными шумами на судне: звон бьющегося стекла и фаянса, бы-

стрые шаги сбегаящих по трапу стюардов, веселые прыжки по палубе оторвавшихся бочонков и нескольких дюжин беглых бутылок портера и весьма любопытные, но отнюдь не веселящие душу звуки, издаваемые в различных каютах семьюдесятью пассажирами, слишком немощными, чтобы подняться к завтраку. О них я умалчиваю: хоть я и слушал этот концерт три или четыре дня кряду, но слышать его, вероятно, был способен не дольше четверти минуты, по истечении какого-то промежутка времени снова укладывался, безмерно страдая от морской болезни.

Впрочем, речь идет не о морской болезни в обычном смысле слова — это бы еще полбеды. То была особая форма, о которой я ранее никогда не слышал и описания которой не читал, хотя и не сомневаюсь, что она довольно распространена. Весь день я лежал в каюте в состоянии полнейшей безучастности и апатии, не испытывая ни усталости, ни желания подняться, почувствовать себя лучше или выйти на воздух; не испытывая ни малейшего любопытства, ни забот, ни сожалений; и помнится, в этом состоянии полнейшего безразличия я ощущал лишь некоторую ленивую радость, какое-то злорадное наслаждение, — если в моей сонной апатии можно было говорить о наслаждениях, — оттого, что жена моя была чересчур больна, чтобы говорить со мной. Если мне позволят воспользоваться таким примером, дабы обрисовать состояние моего ума, то я сказал бы, что чувствовал себя точно так же, как мистёр Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его бар в Чигуэлле. Ничто не могло бы меня удивить. Если бы в минуту просветления, снизошедшего на меня в виде мыслей о родине, в мою крошечную конуру совершенно наяву и среди бела дня явилось привидение в образе почтальона в алом кафтане и с колокольчиком и, попросив извинения за то, что оно промочило ноги, пройдясь по морю, вручило мне письмо с знакомым почерком на конверте, я уверен, что ни на иоту не удивился бы. Я принял бы это как должное. Если бы в каюту вошел сам Нептун¹ с жареной акулой на трезубце, я бы отнесся к этому, как к одному из самых обычных повседневных происшествий.

¹ Бог моря и покровитель мореплавания (*римск. мифология*).

Однажды... однажды я оказался на палубе. Не знаю, как я попал туда и что меня туда погнало, но, так или иначе, я был там, причем совершенно одетый, в огромной матросской куртке из грубого сукна и в такой паре сапог, которую слабый человек, находясь в здравом уме, никогда не сумел бы натянуть на ноги. Когда сознание мое на миг прояснилось, я обнаружил, что стою, держась за что-то. Не знаю, за что я держался. Кажется, это был боцман, а может быть, насос. Или, возможно, корова. Не знаю, как долго я там находился — целый день или одну минуту. Помню, что я пытался думать о чем-нибудь (мне было все равно о чем именно), но безуспешно. Я не мог даже разобрать, где море, а где небо, так как линия горизонта, словно с перепою, плясала во всех направлениях. Несмотря на свое беспомощное состояние, я все же узнал ленивого джентльмена, который стоял передо мной; на нем был синий костюм моряка, на голове — клеенчатая зюйдвестка. Но в тот момент я настолько плохо соображал, что хотя и узнал его, однако не мог отделаться от впечатления, которое произвела на меня его морская одежда, и, помнится, упорно называл его «лоцманом». После этого я снова на некоторое время впал в беспамятство, а когда очнулся — обнаружил, что он исчез и на его месте стоит кто-то другой. Эта новая фигура дрожала и расплывалась перед моими глазами, словно отражение в кривом зеркале, но я узнал в ней капитана; и так ободряюще действовал на всякого самый его вид, что я попытался улыбнуться, — да, даже тут попытался улыбнуться. По его жестам я видел, что он обращается ко мне: он возражал против того, что я стоял по колено в воде (почему так вышло — право, не знаю), но прошло немало времени, прежде чем до меня дошел смысл его жестикуляции. Я хотел поблагодарить его, но из этого ничего не вышло. Я сумел лишь указать на свои сапоги — или на то место, где, по моим предположениям, они должны были находиться, — и сказать жалобным голосом: «Подметки пробковые»; при этом, как мне потом рассказывали, я попытался сесть в воду. Видя, что я невменяем и внушать мне что-либо бесполезно, он великодушно отвел меня вниз.

Там я и оставался до тех пор, пока не почувствовал себя лучше. Всякий раз, как меня уговаривали что-нибудь съесть, я переживал такие муки, которые можно сравнить

лишь с мучениями утопленника, возвращаемого к жизни. Один джентльмен, находившийся на борту нашего судна, имел ко мне рекомендательное письмо от нашего общего друга из Лондона. В то утро, когда подул встречный ветер, этот джентльмен послал мне письмо вниз вместе со своей визитной карточкой, и я долго страдал при мысли о том, что он, вероятно, вполне здоров и сто раз в день ожидает, когда я подойду к нему в кают-компании. Мне он представлялся в виде одной из тех чугунных фигур — не стану называть их людьми, — которые, надувая красные щеки, зычным голосом спрашивают, что за штука морская болезнь и действительно ли она так неприятна, как говорят. Эта мысль поистине терзала меня, и, кажется, никогда я не испытывал такого чувства беспредельной благодарности и величайшего удовлетворения, как в ту минуту, когда услышал от судового врача, что он только что поставил упомянутому джентльмену большой горчичник на живот. Я считаю, что мое выздоровление началось с того момента, как я получил это известие.

Впрочем, моему выздоровлению в значительной мере помог штормовой ветер, который поднялся как-то на закате, когда мы уже дней десять были в море, и, все набирая силу, дул до самого утра; он утих всего на какой-нибудь час незадолго до полуночи. И в неестественном спокойствии воздуха в этот час и в последующем нарастании шторма было что-то столь грозное и безотчетно злое, что я почти почувствовал облегчение, когда он разразился с полной силой.

Никогда не забуду я, с каким трудом пробирался корабль в ту ночь по бурному морю. «Неужели может быть еще хуже?» — я часто слышал этот вопрос, когда все кругом куда-то скользило и подскакивало и когда казалось просто невероятным, чтобы какое-либо пловучее сооружение могло вынести большой напор ветра и волн и притом не перевернуться и не пойти ко дну. Но даже обладая самым живым воображением, трудно себе представить, как треплет пароход в разбушевавшемся Атлантическом океане в бурную зимнюю ночь. Рассказать, как волны бросают его на бок, так что верхушки мачт погружаются в воду, и не успевает он выпрямиться, — его швыряет на другой бок, а потом вдруг гигантский вал ударяет в борт с грохотом сотни тяжелых пушек и отбрасывает его назад — и тогда он останавливается, сотря-

саясь и вздрагивая словно оглушенный ударом, а затем с яростным биением своего механического сердца бросается вперед, подобно обезумевшему чудовищу, чтобы расвирепешшее море снова напало на него, свалило, сокрушило, раздавило; рассказать, как гром и молнии, град и дождь, и ветер вступают в яростную борьбу за него, как стонет каждая доска, кричит каждый гвоздь и ревет каждая капля воды в бескрайном океане, — все равно, что ничего не рассказать. Назвать это зрелище в высшей мере грандиозным, ошеломляющим и жутким, — все равно, что ничего не сказать. Этого не выразить словами. Этого не охватить мыслью. Только во сне можно вновь пережить такую бурю во всем ее неистовстве, ярости и страсти.

И все же в самый разгар всех этих ужасов я оказался в столь смешном положении, что даже в тот момент понимал всю его нелепость не хуже, чем сейчас, и так же не мог удержаться от смеха, как в любом другом забавном случае, когда *все* располагает к веселью. Около полуночи нас качнуло на такой волне, что вода хлынула в люки, распахнула двери наверху и с ревом и грохотом ворвалась в дамскую каюту к неопишуемому ужасу моей жены и одной маленькой шотландки, которая, кстати говоря, незадолго до этого послала капитану записку с вежливой просьбой немедленно распорядиться, чтобы на каждой мачте, а также на трубе были установлены стальные громоотводы: тогда можно будет не бояться, что в судно ударит молния. Обе дамы, а также и горничная, о которой уже упоминалось выше, были в каком-то пароксизме страха, и я буквально не знал, что с ними делать; естественно я подумал о каком-либо подкрепляющем или успокоительном средстве, но в тот момент мне не пришло в голову ничего лучше горячего бренди с водой, и я незамедлительно наполнил стакан этим напитком. Поскольку было невозможно стоять или сидеть, ни за что при этом не держась, женщины забились в уголок большого дивана — сооружения, тянувшегося во всю длину каюты, — и, уцепившись друг за друга, ежеминутно ожидали, что вот-вот пойдут ко дну. Я подошел к ним со своим целебным средством и собирался дать питье ближайшей страдальце с многочисленными словами утешения впридачу, но каков же был мой ужас, когда они вдруг медленно покатались в другой конец дивана. Пока же я, пошатываясь, добрался до этого

конца и снова протянул стакан, судно дало новый крен, и они покатались обратно, а мои добрые намерения разлетелись впрах! Мне кажется, не меньше четверти часа я гонялся за ними взад и вперед вдоль дивана и ни разу не сумел настичь их; когда же, наконец, мне это удалось, — в стакане, содержимое которого все это время понемногу выплескивалось, оставалось не более чайной ложки бренди с водой. Для полноты картины необходимо указать, что сам незадачливый преследователь был смертельно бледен от морской болезни, не брит и не чесан с тех пор, как покинул Ливерпуль; вся его одежда (не считая белья) состояла из пары толстых суконных брюк, синего сюртука, которым любовались когда-то в Ричмонде на Темзе, и одной ночной туфли при полном отсутствии носок.

Я обхожу молчанием издевательские выходки судна на следующее утро: улежать в постели можно было, лишь став настоящим акробатом, а вылезти из нее иначе, как вывалившись на пол, — просто невозможно. Но я никогда не видел такой картины полнейшего уныния и безнадежности, какая открылась моему взору, когда в полдень меня буквально вышвырнуло на палубу. И океан и небо были одинаково безотрадного, тусклого, свинцового цвета. Даже за окружавшей нас унылой пустыней глазу не открывалось никаких перспектив, так как волны вздымались горами и горизонт сжимал нас, словно большой черный обруч. Если бы эту картину наблюдать с воздуха или с какого-нибудь высокого утеса на берегу, она, несомненно, казалась бы величественной и грандиозной, но, глядя на все это с мокрой и колеблющейся под ногами палубы, испытываешь лишь головокружение и тошноту. Во время ночного шторма спасательная лодка раскололась, как грецкий орех, от удара волны и теперь висела, болтаясь в воздухе какой-то беспорядочной охапкой досок. Деревянный кожух, защищавший гребные колеса, был начисто снесен, и они вертелись теперь, оголенные и ничем не прикрытые, разбрасывая во всех направлениях пену и обдавая палубы фонтанами брызг. Труба побелела от налета соли; стены убраны; поставлены штормовые паруса; весь такелаж, мокрый и обвисший, спутан и перекручен, — более мрачную картину трудно себе представить.

Мне теперь любезно предоставили возможность удобно устроиться в дамской каюте, где, помимо нас с женой, было еще только пятеро пассажиров. Во-первых, уже упомянутая маленькая шотландка, которая ехала к своему мужу, обосновавшемуся в Нью-Йорке три года назад. Во-вторых и в-третьих, честный молодой йоркширец, связанный с какой-то американской фирмой; проживал он тоже в Нью-Йорке и теперь вез туда свою хорошенькую молодую жену, с которой обвенчался всего две недели назад, — лучший образец миловидной английской фермерши, какой я когда-либо видел. В-четвертых, в-пятых и в-последних, — еще чета, тоже молодожены, судя по тем нежностям, которые они расточали друг другу. О них мне известно только, что их окутывала какая-то таинственность и что они походили на пару беглецов; дама тоже была очень привлекательна, а джентльмен имел при себе больше ружей, чем Робинзон Крузо, носил охотничью куртку и вез двух больших собак. По дальнейшем размышлении вспоминаю, что этот джентльмен пробовал лечиться от морской болезни жареным поросенком в горячем виде и крепким элем и с поразительным упорством изо дня в день принимал это лекарство (обычно лежа в постели). К сведению интересующихся могу добавить, что оно явно не помогало.

Погода упорно оставалась на редкость скверной, а потому, слабые и несчастные, мы обычно кое-как добирались до этой каюты за час до полудня и ложились на диваны, чтобы немного притти в себя; в эту пору капитан заглядывал к нам, чтобы сообщить о направлении и силе ветра, о скорости передвижения судна и так далее, а также чтобы выразить искреннее убеждение в том, что на завтра ветер переменится (на море погода всегда обещает на завтра стать лучше). Кроме этого, ему не о чем было нам рассказывать, так как солнце не показывалось, а посему никакие наблюдения не были возможны. Достаточно будет описать один наш день, чтобы дать представление обо всех остальных. Вот это описание.

После ухода капитана мы устраиваемся, чтобы почитать, если достаточно светло; в противном случае, — то дремлем, то беседуем. В час звонит колокол, и вниз спускается официантка, неся дымящееся блюдо жареного картофеля и другое — с запеченными яблоками; она приносит также студень, ветчину и солонину или окутанное

паром блюдо с целой горой превосходно приготовленного горячего мяса. Мы набрасываемся на эти лакомства; едим, как можно больше (у нас теперь отличный аппетит) и как можно дольше задерживаемся за трапезой. Если в печке загорится огонь (а иногда он загорается), — все мы приходим в наилучшее настроение. Если же нет, — мы все начинаем жаловаться друг другу на холод, потираем руки, закутываемся в пальто и накидки и до обеда снова укладываемся, чтобы подремать, поговорить или почитать (опять-таки, если достаточно светло). В пять снова звонит колокол и снова появляется официантка с блюдом картофеля, но на сей раз — отварного, и с большим выбором мяса во всех видах; при этом не забыт, конечно, и жареный поросенок, который потребляется в медицинских целях. Мы опять садимся за стол (пожалуй, в более веселом настроении, чем раньше); мы продлеваем удовольствие, засиживаясь за привычным десертом, состоящим из яблок, винограда и апельсинов, и потягивая вино и бренди с водой. Бутылки и стаканы все еще стоят на столе, а апельсины и прочие фрукты катаются, как им вздумается и как заблагорассудится кораблю, когда в каюту входит доктор, которого всегда специально приглашают присоединиться к нашему вечернему робберу. Немедленно по его прибытии мы составляем партию в вист и, поскольку вечер бурный и карты не лежат на скатерти, взятки кладем в карман. С отменной серьезностью мы просиживаем за вистом часов до одиннадцати или около того (за вычетом краткого промежутка времени, какой требуется на то, чтобы выпить чаю с бутербродом); затем к нам снова спускается капитан в зюйдвестке, завязанной под подбородком, и в лоцманском плаще; он оставляет за собой мокрый след на полу. К этому времени игра заканчивается и на столе снова появляются бутылки и стаканы; после часа приятной беседы о корабле, пассажирах и вообще о всякой всячине капитан (который никогда не спит и никогда не бывает в плохом настроении) поднимает воротник своего плаща, чтобы снова отправиться на палубу; он пожимает всем руки и, смеясь, выходит в непогоду так весело, как будто отправляется к кому-нибудь на именины.

Что касается ежедневных новостей, то в них нет недостатка. Вон тот пассажир, говорят, вчера в салоне проиграл четырнадцать фунтов в «двадцать одно», а этот

пассажир каждый день выпивает по бутылке шампанского, и как он это может себе позволить, будучи всего лишь клерком, — никому неизвестно. Судовой механик определенно заявил, что в жизни не видал эдакого — подразумевалась погода — и что четверо из команды больны и валяются, как лодыри. В кубрике несколько коек залило водой, — она просочилась и во все пассажирские каюты. Судовый кок, любитель прикладываться исподтишка к разбитым бутылкам виски, был найден пьяным, и его окатывали из брандспойта до тех пор, пока он не протрезвился. Все стюарды по очереди падали с лестниц в обеденное время и ходят теперь с пластырями на различных частях тела. Болен булочник, а также и пирожник. На место последнего поставили нового человека, чуть живого от морской болезни; его маленькое помещение на палубе завалено пустыми бочками, которые одновременно и не дают ему повернуться и не позволяют упасть. Ему приказали раскатывать слоеное тесто для пирогов, а он (как человек чрезвычайно раздражительный) заявил в ответ, что ему легче умереть, чем смотреть на это тесто. Новости! Да дюжина убийств на берегу не так интересуют вас, как эти незначительные происшествия на борту корабля!

Мы делили время между картами и беседами о самых разнообразных предметах, и вот наступил вечер пятнадцатого дня, когда (по нашим расчетам) мы должны были подходить к бухте Галифакса, в Канаде; дул слабый ветер, и светила яркая луна — мы уже почти различили маяк у входа в бухту и предоставили лоцману заняться исполнением своих обязанностей, как вдруг судно наскочило на илистую отмель. Конечно, все немедленно бросились наверх; в мгновение ока палубы заполнились народом, и несколько минут на судне царил такой несусветный переполох, который доставил бы наслаждение даже величайшему любителю всяких беспорядков. Однако вскоре после того, как пассажиры, орудия, бочонки с водой и прочие тяжелые предметы были перемещены на корму, чтобы облегчить носовую часть, корабль сошел с мели; затем он продвинулся немного вперед по направлению к неуютно выглядящим предметам (об их близости нам возвестил громкий крик: «Гляди в оба», раздавшийся в самом начале суматохи), потом был дан задний ход, что сопровождалось бесконечным промерива-

нием при помощи лота все уменьшавшейся глубины, и, наконец, мы бросили якорь в какой-то странной, глухой на вид бухточке, которую никто на борту не мог признать, хотя вокруг нас и была земля, да так близко, что мы ясно видели раскачиваемые ветром ветви деревьев.

Среди глубокой ночи, в мертвой тишине, словно порожденной внезапным прекращением работы машины, непрерывный стук которой столько дней подряд отдавался гулом у нас в ушах, странно было видеть это выражение полнейшего удивления на лице каждого, начиная с офицеров и всех пассажиров и кончая кочегарами и истопниками, — они поодиночке вынырнули откуда-то из недр корабля и, вполголоса обмениваясь замечаниями, сгруппировались прокопченной группой у люка, ведущего в котельную. После того как было пущено несколько ракет и дано несколько сигнальных выстрелов из пушек в надежде, что с берега кто-нибудь откликнется или по крайней мере засветится огонек, было решено отправить на берег лодку, поскольку кругом попрежнему не было ничего ни слышно, ни видно. Забавно было наблюдать, с какой готовностью некоторые пассажиры вызвались отправиться на берег в этой лодке, — для общего блага, конечно, а вовсе не потому, что они считали положение судна небезопасным или предполагали, будто оно может перевернуться во время отлива. Не менее любопытно было отметить, как за одну минуту бедный лоцман утратил всеобщее расположение. Он ехал с нами из Ливерпуля и во все время путешествия играл весьма заметную роль, так как был мастер рассказывать анекдоты и отпускать остроумные шутки. И вот, те самые люди, что громче всех смеялись его остроумам, теперь размахивали кулаками перед его носом, кляли его на все лады и в глаза обзывали негодяем!

Лодка скоро отвалила, имея на борту большой фонарь и запас фальшфейеров; менее чем через час она вернулась. Командовавший ею офицер привез с собой довольно высокое молоденькое деревцо, выдернув его с корнем на берегу для успокоения некоторых недоверчивых пассажиров; они воображали себя обманутыми и полагали, что неминуемо должны стать жертвами кораблекрушения. Без этого деревца они никоим образом не поверили бы, что офицер побывал на берегу, а решили бы, что он просто-напросто поплавал немного в тумане, специально для того, чтобы мошеннически провести их и обдумать их

погибель. Наш капитан с самого начала заподозрил, что мы находимся в так называемом Восточном проходе; так оно и оказалось. Это было, пожалуй, самое неподходящее для нас место на свете — нам нечего было здесь делать и незачем было сюда заезжать; очутились же мы здесь по вине тумана и какой-то ошибки, допущенной лоцманом. Кругом были бессчетные мели, скалы, рифы, но мы, как видно, благополучно приплыли в единственное безопасное местечко, какое только можно было отыскать поблизости. Успокоенные этим сообщением, а также заверениями, что время отлива уже миновало, мы в три часа утра разошлись по каютам.

На следующий день в половине десятого, одеваясь, я услышал наверху шум, заставивший меня поспешить на палубу. Когда я покинул ее минувшей ночью, было темно, туманно и сыро, а вокруг возвышались унылые холмы. Теперь же мы скользили по спокойной широкой водной глади со скоростью одиннадцати миль в час; флаг наш весело развевался по ветру; команда по-праздничному принарядилась; офицеры снова надели форму; солнце светило так ярко, словно в ясный апрельский день в Англии; по обе стороны тянулась земля, кое-где припорошенная снежком; белые деревянные дома; у дверей стоят люди; подаются сигналы; подняты флаги; показывается пристань; суда; усеянные народом набережные; отдаленный шум; крики; взрослые и дети сбегают по крутому холму к самому причалу... все это с непривычки кажется нам более ярким, веселым и новым, чем можно выразить словами. Мы подошли к пристани, на которой, задирая головы, толпились люди; судно пришвартовалось; матросы с шумом и криком закрепили канаты; и едва с берега перекинули сходни, — чуть ли не прежде, чем они достигли борта парохода, — вниз по ним уже бросились десятка два пассажиров, — и вот мы снова на твердой, чудесной земле!

Я думаю, этот Галифакс показался бы нам раем, даже если б это было безобразнейшее и скучнейшее место на свете. Но я увез с собой самое приятное впечатление от города и его обитателей, и оно поныне свежо в моей душе. Не без сожаления вернулся я домой, так и не найдя случая снова побывать в этом городе и пожать руки людям, которые стали в тот день моими друзьями.

Случилось так, что в этот самый день открывалась сессия Законодательного собрания и Генеральной ассамблеи; происходившая при этом церемония была столь тщательной копией с ритуала, соблюдаемого при открытии сессии парламента в Англии, с такой торжественностью. — только в меньших масштабах, — были выполнены все формальности, что казалось, будто смотришь на Вестминстер¹ в телескоп, только с обратного конца. Губернатор в качестве представителя ее величества выступил с неким подобием тронной речи. То, что он имел сказать, он сказал хорошо и решительно. Военный оркестр на улице с величайшей энергией заиграл «Боже храни королеву» еще прежде, чем его превосходительство окончил свою речь; народ разразился криками; правительственная партия потирала руки; оппозиция покачивала головами; правительственная партия сказала, что никогда еще не было такой хорошей речи; оппозиция заявила, что никогда еще не было такой плохой; председатель и члены Генеральной ассамблеи покинули свои места, чтобы много говорить потом и мало сделать; короче говоря, все шло и обещало идти в точности так, как это происходит в подобных случаях у нас.

Город построен на склоне холма; на самой его вершине возвышается еще не вполне достроенная крепость. Несколько улиц, довольно широких и приятных на вид, спускаются с вершины холма к воде; их пересекают поперечные улицы, проходящие параллельно реке. Большинство домов — деревянные. Рынок изобилует провизией, и она на редкость дешева. Поскольку погода была необычайно мягкая для этого времени года, на санях не катались, но во дворах и разных закоулках виднелось множество этих экипажей; некоторые из них благодаря своей пышности вполне могли бы без всяких переделок сойти за триумфальные колесницы в какой-нибудь мелодраме у Этли. День был необыкновенно хорош, воздух живительный и бодрящий, и город казался веселым, процветающим и трудолюбивым.

Мы простояли семь часов, сгружая и принимая почту. Наконец, когда оказались на месте все наши мешки и все наши пассажиры (включая двух или трех гурманов,

¹ В Лондоне на территории Вестминстера помещается английский парламента.

которые сверх меры увлеклись устрицами и шампанским и были найдены в бесчувственном состоянии где-то на глухих улицах города), снова заработали машины, и мы отплыли в Бостон.

В заливе Фанди мы опять попали в шторм, и всю эту ночь и весь следующий день нас швыряло и качало, как обычно. На следующий день, то есть в субботу, 22 января, к нам подошла лодка с американским лоцманом, и вскоре после этого было сообщено, что пакетбот «Британия», вышедший из Ливерпуля и находившийся в пути восемнадцать дней, прибыл в Бостон.

Вряд ли можно преувеличить тот неопиcуемый интерес, с которым я напрягал зрение, вглядываясь в первые очертания американской земли, — подобно кротовым кочкам, она выступала из зеленого моря, и я неотрывно следил за тем, как медленно и почти незаметно для глаза эти кочки ширились и росли, превращаясь в непрерывную линию берега. Резкий, пронизывающий ветер дул нам прямо в лоб; стоял сильный мороз, и стужа была изрядная. И все же воздух был такой необычайно чистый, сухой и прозрачный, что холод казался не только терпимым, но и приятным.

Как я оставался на палубе, глаза по сторонам, пока мы не подошли вплотную к пристани, и как, имея я столько же глаз, сколько Аргус¹, я широко раскрыл бы их все и устремил бы каждый на нечто новое, — все это такие предметы, ради которых я не намерен удлинять настоящую главу. Точно так же я лишь мимоходом укажу на обычную для иностранца ошибку, которую я совершил, предположив, что компания весьма деятельных джентльменов, с риском для жизни взобравшихся на борт, когда мы подходили к пристани, состояла из репортеров — они очень походили на трудолюбивых представителей этой профессии у нас на родине; в действительности же, хотя на шее у некоторых из них висели на ремне кожаные сумки для бумаг и в руках у всех были большие блокноты, это были господа издатели, которые лично прибыли на корабль (как сообщил мне один джентльмен в шерстяном шарфе) «потому, что им по вкусу царящее на борту оживление». Ограничусь упо-

¹ Стоглазый великан (греч. мифология).

минанием, что один из участников этого набега, с готовностью и любезностью, за которую я приношу ему здесь нижайшую благодарность, поспешил в гостиницу, чтобы заказать для меня номер; я вскоре последовал за ним и, проходя по длинным коридорам, обнаружил, что невольно подражаю покачивающейся походке мистера Кука, когда он выступает в новой мелодраме из жизни моряков.

**ВОРЧЕСТЕР. РЕКА КОННЕКТИКУТ.
ХАРТФОРД. ИЗ НЬЮ-ХЭВЕНА
В НЬЮ-ЙОРК**

Покинув Бостон в субботу, пятого февраля, мы отправились по железной дороге в Ворчестер, хорошенький городок в Новой Англии¹, где нам предстояло пробить под гостеприимным кровом губернатора штата до утра понедельника.

Эти городки и города Новой Англии (многие из них в Старой Англии были бы деревнями) создают столь же благоприятное представление о сельской Америке, как их население — о сельских жителях Америки. Здесь не видно ни аккуратно подстриженных газонов, ни зеленых лугов нашей родины; трава по сравнению с нашими пастбищами и декоративными лужайками растет здесь буйно, неровно и дико, зато куда ни глянь — глаз радуют живописные склоны, мягко вздымающиеся холмы, лесистые долины и узенькие ручейки. В каждом маленьком селении — своя церковь и своя школа, которые выделяются среди белых крыш и тенистых деревьев; каждый дом — белее белого; каждый ставень — зеленее зеленого; в каждый погожий день небо голубее голубого. Когда мы высадились в Ворчестере, от резкого сухого ветра и легкого морозца дороги были покрыты твердой коркой, так что колеи походили на гранитные гряды. Конечно, на каждом предмете лежал обычный здесь отпечаток новизны. Все строения выглядели так, словно их построили и покрасили только сегодня утром и без особого труда могли снести в понедельник. В свежем вечернем воздухе все очертания

¹ Наименование группы штатов на северо-востоке США.

казались особенно резкими. Чистенькие картонные колоннады обладали перспективой в такой же мере, как китайский мостик, нарисованный на чайной чашке, и казались не более пригодными для настоящей жизни. Бритвоподобные края разбросанных в беспорядке коттеджей как будто разрезали самый ветер, когда он со свистом обрушивался на них, и от жгучей боли плач его становился еще пронзительнее, когда он летел дальше. Взгляд словно пронизывал насквозь эти хрупкие деревянные жилища, за которыми во всем своем блеске садилось солнце; и нельзя было ни на минуту представить себе, что обитатель их может укрыться тут от постороннего глаза или сохранить что-либо в тайне от широкой публики. И если даже за незанавешенными окнами какого-нибудь дома вдали блестел яркий огонь очага, казалось, он только что зажжен и не приносит тепла; и вместо того чтобы пробудить в вас думы об уютной комнате, озаренной улыбками людей, впервые увидевших свет у этого самого очага, и наполненной красноватым сумраком от плотных занавесей, это зрелище невольно заставляло вас чувствовать запах еще не просохшей известики и сырых стен.

По крайней мере так я думал в тот вечер. На следующее утро ярко светило солнце и в воздухе раздавался серебристый звон церковных колоколов; ближняя дорожка пестрела праздничными нарядами степенно шагавших горожан, а вдали, на ленте большой дороги, они казались просто яркими точками; приятно было ощущать царившее во всем отрадное спокойствие воскресного дня. Было бы лучше, пожалуй, если б рядом стояла какая-нибудь старая церковь, и еще лучше — если б виднелся десяток-другой старых могил, но даже и без этого, после неугомонного океана и суетливого города совершенный покой и тишина этих мест оказывали вдвойне благотворное влияние на умы.

На следующее утро все так же, поездом, мы отправились в Спрингфилд. Оттуда до Хартфорда — места нашего назначения — всего двадцать пять миль, но в это время года дороги так плохи, что путешествие на лошадях, вероятно, заняло бы часов десять — двенадцать. К счастью, однако, зима стояла необычайно мягкая, и река Коннектикут была «открыта», иначе говоря, не замерзла. Капитан маленького пароходика собирался совершить в тот день свое первое путешествие в эту навигацию (мне

кажется, это было второе плавание в феврале на памяти нашего поколения) и ожидал лишь нас. Потому мы поднялись на борт, стараясь мешкать как можно меньше. Капитан оказался верен своему слову, и мы тотчас пустились в путь.

Судно, конечно, не без оснований называли «маленьким пароходиком». Я забыл спросить, но, думаю, мощность его машины равнялась примерно половине силы пони. Знаменитый карлик мистер Паап вполне мог бы прожить всю свою жизнь и благополучно скончаться в каюте этого пароходика, в которой были обыкновенные подъемные окна, как в жилых домах. Ярkokрасные занавески на плохо натянутых шнурах закрывали нижние половинки окон, и это придавало каюте вид лилипутского трактира, который снесло наводнением или каким-то иным стихийным бедствием и который плывет теперь неведомо куда. Но даже и в этой комнатке имелось кресло-качалка. В Америке нет такого места, где не нашлось бы кресла-качалки.

Я боюсь сказать, сколькими футами измерялось это суденышко вдоль и поперек — оно было настолько коротеньким и узеньким, что термины «в длину» и «в ширину» здесь были бы явно неуместны. Но я могу утверждать, что все мы держались посередине палубы, опасаясь, как бы судно вдруг не перевернулось, и что машины посредством какого-то изумительного способа уплотнения были втиснуты между палубой и килем; из всего вместе взятого получался теплый сэндвич примерно в три фута толщиной.

Весь день шел дождь; когда-то я думал, что такого дождя больше нигде не может быть, кроме как на севере и северо-западе Шотландии. Река была сплошь покрыта плывущими глыбами льда, которые непрестанно хрустели и трещали под нами; чтобы избежать особенно больших глыб, которые несло течением посередине реки, мы держались поближе к берегу, где глубина не превышала нескольких дюймов. Тем не менее мы ловко продвигались вперед, и поскольку все были хорошо укутаны, бросали вызов погоде и наслаждались путешествием. Река Коннектикут — хорошая река, и я не сомневаюсь, что берега ее летом красивы, — во всяком случае, так мне сказала молодая леди в каюте, а она должна быть ценителем красоты, если обладание тем или иным качеством озна-

чает также и умение ценить его, ибо я никогда не видел более прекрасного создания.

После двух с половиной часов этого своеобразного путешествия (включая остановку в маленьком городке, где в нашу честь был дан салют из пушки гораздо больших размеров, чем труба нашего пароходика) мы добрались до Хартфорда и прямехонько направились в чрезвычайно комфортабельный отель, — исключение, как всегда, составляли спальни, которые почти везде, где нам пришлось побывать, чрезвычайно располагали к раннему вставанию.

Мы задержались здесь на целых четыре дня. Городок красиво расположен в долине, окруженной зелеными холмами; земля здесь щедрая, обильно поросшая лесами и заботливо обрабатываемая. Здесь заседает законодательная власть штата Коннектикут; этот мудрый орган в давно прошедшие времена принял известный кодекс законов, именуемый «Голубые законы»; среди прочих разумных постановлений в кодексе имелось и такое, согласно которому любого гражданина, поцеловавшего свою жену в воскресенье (в случае, если это было доказано), в наказание могли посадить в колодки. В этих краях еще и поныне силен дух старого пуританства, но я что-то не замечал, чтобы под его влиянием люди меньше соблюдали свою выгоду или честней вели свои дела. Поскольку мне неизвестно о подобном влиянии пуританского духа где-либо в другом месте, я прихожу к выводу, что этого никогда не будет и здесь. Если уж говорить о благочестивых речах и строгих лицах, то должен сказать, что я привык судить о товарах потустороннего мира точно так же, как о тех, которыми торгуют на земле, и всякий раз, как я вижу, что торговец слишком много выставил на витрине, я сомневаюсь в качестве того, что можно найти в лавке.

В Хартфорде находится знаменитый дуб, в котором была спрятана хартия короля Карла¹. Ныне вокруг него сад, принадлежащий одному джентльмену. В палате штата хранится сама хартия. Суды здесь точно такие же,

¹ Хартия на самоуправление, данная королем Карлом II Стюартом, английским колонистам в Хартфорде (1662). По преданию, ее спрятали в дупле дерева, когда губернатор провинции пытался отобрать ее (1687).

как и в Бостоне, и общественные учреждения почти так же хороши. Превосходно поставлено дело в приюте для умалишенных, равно как и в институте глухонемых.

Проходя по приюту для умалишенных, я неоднократно задавался вопросом, сумел ли бы я отличить служащих этого заведения от пациентов, если бы первые не обменивались с доктором краткими замечаниями о находящихся под их наблюдением больных. Конечно, это касается лишь их внешнего вида, так как речи безумных были достаточно безумными.

Там была одна маленькая чопорная старушка, беспрестанно улыбающаяся и приветливая, которая, семеня как-то бочком, появилась из глубины длинного коридора и, присев передо мною с таким видом, будто оказывала мне величайшую милость, задала такой необъяснимый вопрос:

— Скажите, сэр, что, Понтефракт все еще процветает на земле английской?

— Да, сударыня, — ответил я.

— Когда вы в последний раз видели его, сэр, он был...

— В прекрасном состоянии, сударыня, — сказал я, — в превосходном состоянии. Он просил меня передать вам привет. Выглядел он как нельзя лучше.

Эти слова чрезвычайно обрадовали старушку. С минуту посмотрев на меня, как бы для того, чтобы вполне удостовериться в серьезности моего почтительного к ней отношения, она все так же бочком сделала несколько шажков назад; затем снова скользнула вперед, внезапно подпрыгнула (при этом я поспешно отступил шага на два) и сказала:

— Я ископаемое, сэр.

Я счел самым подходящим сказать, что подозревал это с самого начала. А потому так и сказал.

— Мне чрезвычайно приятно, и я весьма горжусь, сэр, что принадлежу к числу ископаемых, — заявила старая дама.

— Я бы полагал, что так и должно быть, сударыня, — ответил я.

Старая дама послала мне воздушный поцелуй, еще раз подпрыгнула, самодовольно улыбнулась и все той же необычной походкой засеменила прочь по коридору и нырнула в свою спальню.

В другой части здания, в одной из комнат мы увидели пациента мужского пола, лежавшего на кровати; он был весьма оживлен и разгорячен.

— Ну-с! — сказал он, вскакивая и срывая с головы ночной колпак. — Наконец все устроено. Я обо всем договорился с королевой Викторией.

— Договорились о чем? — спросил доктор.

— Ну, об этом деле, — сказал он, устало проводя рукой по лбу, — об осаде Нью-Йорка.

— Ах, вот как! — сказал я, словно внезапно поняв, о чем идет речь, так как он смотрел на меня, ожидая ответа.

— Да. Английские войска откроют огонь по каждому дому, на котором не будет условного знака. Домам, имеющим такой знак, не будет причинено никакого вреда. Абсолютно никакого. Те, кто хочет быть в безопасности, должны вывесить флаги. Это все, что от них требуется. Они должны вывесить флаги.

Мне казалось, что, говоря так, он в какой-то степени сознавал, что речь его бессвязна. Как только он произнес эти слова, он лег, издал что-то похожее на стон и накрыл свою пылающую голову одеялом.

Был там и другой — молодой человек, который свихнулся на любви к музыке. После того как он сыграл на аккордеоне марш собственного сочинения, он попросил меня зайти к нему в комнату, что я немедленно сделал.

Делая вид, что я прекрасно все понимаю, и подлаживаясь под его настроение, я подошел к окну, за которым открывался чудесный вид, и ввернул с такой ловкостью, что сам возгордился:

— Чудесные тут места вокруг вашего дома!

— Пф-ф! — сказал он, небрежно проводя пальцами по клавиатуре своего инструмента. — *Для такого учреждения, как это, — здесь недурно!*

Думаю, что никогда в жизни не был я так ошеломлен.

— Я здесь просто потому, что мне пришла такая фантазия, — сказал он холодно. — Только и всего.

— Ах, только и всего? — сказал я.

— Да, только и всего. Доктор славный человек. Он в курсе дела. Это шутка с моей стороны. Я подчас люблю пошутить. Можете не упоминать об этом, но я думаю выйти отсюда в следующий вторник!

Я заверил его, что считаю наш разговор сугубо конфиденциальным, и присоединился к доктору. На обратном пути, когда мы проходили по галлерее, к нам подошла хорошо одетая дама с тихими и плавными движениями и, протянув листок бумаги и перо, попросила, чтобы я оказал ей честь, дав свой автограф. Я выполнил ее просьбу, и мы расстались.

— Помнится, у меня уже было несколько подобных встреч с дамами на улице. Надеюсь, она не сумасшедшая?

— Нет, сумасшедшая.

— А на чем она помешана? На автографах?

— Нет. Ей чудятся голоса.

«Ну, — подумал я, — неплохо было бы, если б мы могли запрятать в сумасшедший дом несколько современных лжепророков, которые якобы тоже слышат всякие голоса, и мне хотелось бы для начала проделать такой опыт с одним-двумя мормонами».

В этом городке — лучший в мире дом заключения для подсудимых. Здесь же находится и отлично устроенная тюрьма штата, на стенах которой всегда стоят часовые с заряженными ружьями. В то время в ней содержалось около двухсот заключенных. Здесь мне показали место, где несколько лет тому назад глухой ночью один из заключенных, сумевший вырваться из своей камеры, в отчаянной попытке спастись, убил часового. Показали мне также женщину, которая уже шестнадцать лет находится в одиночном заключении за убийство мужа.

— Вы думаете, — спросил я своего провожатого, — что после столь продолжительного заключения у нее еще осталась хоть мысль или надежда когда-нибудь вновь обрести свободу?

— Боже мой, конечно! — ответил он. — Несомненно.

— Но на самом деле это, вероятно, невозможно?

— Ну, не знаю. (Кстати, это типично американский ответ.) Ее друзья не доверяют ей.

— А причем тут они? — задал я естественный вопрос.

— Ну, они не хотят подавать прошение.

— Но если бы они и подали, я полагаю, им все равно не удалось бы вызволить ее?

— Ну, может быть, не с первого раза и не со второго, но если несколько лет бить в одну точку, — то можно было бы добиться.

— Это когда-нибудь удастся?

— Да, бывает, что удается. Влиятельные друзья устраивают это иногда. Такие вещи довольно часто продельваются тем или иным способом.

Я всегда с удовольствием и благодарностью буду вспоминать Хартфорд. Это чудесное место, и я подружился там со многими людьми, к которым я навсегда сохраню самые теплые чувства. С немалым сожалением мы покинули его в пятницу, одиннадцатого числа, и провели вечер в поезде, мчавшем нас в Нью-Хэвен. По пути мне официально представили нашего кондуктора (как это водится в подобных случаях), и мы поговорили с ним о том, о сем. После трех часов пути, около восьми вечера, мы прибыли в Нью-Хэвен и остановились на ночь в лучшей гостинице.

Нью-Хэвен, известный также под названием Город вязов, — прекрасный город. Многие его улицы (как это в достаточной мере подчеркивает его прозвище) обсажены рядами величественных старых вязов, и эти же природные украшения окружают Йельский университет, заведение с солидным именем и репутацией. Различные его факультеты расположены среди парка, или общественного сада, находящегося в центре города, и здания едва видны из-за тенистых деревьев. В общем это очень похоже на двор при каком-нибудь старом соборе в Англии; когда все листья на деревьях распустятся, здесь, должно быть, очень живописно. Даже в зимнее время эти купы высоких деревьев, сгрудившихся среди шумных улиц и домов процветающего города, выглядят причудливо; в них словно примиряются сельское и городское, как будто город и деревня двинулись друг другу навстречу и, встретившись на полпути, пожали друг другу руки, — впечатление создается и оригинальное и приятное.

Проведя здесь ночь, мы встали рано и заблаговременно спустились к пристани, где сели на пакетбот «Нью-Йорк», направляющийся в Нью-Йорк. Это был первый американский пароход сколько-нибудь значительных размеров, который я видел, и, конечно, глазу англичанина он казался куда менее похожим на пароход, чем

на огромную пловучую ванну. Поистине, мне трудно было отделаться от впечатления, что это купальня у Вестминстерского моста, которую я знал совсем крошкой и которая вдруг разрослась до исполинских размеров, убежала с родины и обосновалась на чужбине в качестве парохода. Что она попала именно в Америку, казалось вполне понятным, ибо эта страна пользуется особым расположением английских бродяг.

Внешне здешние пакетботы отличаются от наших прежде всего тем, что больше выступают из воды; главная палуба огорожена со всех сторон и завалена бочонками и припасами, как второй или третий этаж пакгауза; прогулочная же, или навесная палуба находится над нею. Часть машин всегда возвышается над этой палубой; видно, как в прочной и высокой раме работает шатун, похожий на железного пыльщика. Ни мачт, ни талей обычно нет — торчат только две высокие черные трубы. Рулевой упрятан в маленькую будку в носовой части корабля (штурвал соединен с рулем при помощи железных цепей, тянувшихся вдоль всей палубы), а пассажиры, за исключением тех дней, когда погода уж очень хороша, обычно сидят внизу. Как только пристань осталась позади, вся жизнь, всякий шум и суета на пакетботе немедленно замирают. Долгое время вы удивляетесь, как это он двигается: кажется, что никто им не управляет; а когда, разбрызгивая воду, мимо проплывает другая такая же несуразная махина, вы ощущаете прилив возмущения при виде этого мрачного, неповоротливого, неграциозного левиафана, похожего на что угодно, только не на корабль, совершенно забывая, что судно, на борту которого вы находитесь, — вылитый его двойник.

Внизу обычно находится контора, где вы платите за проезд, дамская каюта, помещение для хранения багажа и кладовые, машинное отделение, — великое множество всяческих углов и закоулков, которые весьма затрудняют поиски мужской каюты. Последняя часто тянется во всю длину судна и по обеим ее сторонам — три или четыре яруса коек. Когда я впервые спустился в каюту «Нью-Йорка», моему неискушенному глазу она показалась почти такой же длинной, как Берлингтонская аркада.

Путешествие через Саунд, который приходится пересекать, следуя такому маршруту, не всегда безопасно или

приятно: здесь не раз бывали несчастные случаи. Утро было сырое и очень туманное, и мы вскоре потеряли землю из виду. Однако день выдался спокойный, и к полудню небо прояснилось. Опустошив (благодаря усердной помощи одного приятеля) кладовую и уничтожив запасы пива в бутылках, я улегся спать, сильно утомленный переживаниями минувшего дня. Но я во-время проснулся, чтобы поспешить на палубу и увидеть Врата ада, Кабанью спину и Шипящую сковородку, а также прочие достопримечательные места, имеющие притягательную силу для всех, кто читал знаменитую «Историю» Дидриха Никкербокера¹. Теперь мы плыли по узкому каналу; по обе стороны его тянулись пологие берега, усеянные хорошенькими виллами; зелень травы и деревьев радовала глаз. Вскоре мимо нас быстрой чередой пронеслись маяк, дом для умалишенных (где сумасшедшие бросали в воздух свои колпаки и ревели, вторя рокоту нашей машины и шуму попутной волны), тюрьма и другие здания; и, наконец, мы очутились в прославленном заливе, воды которого сверкали в лучах солнца, словно очи природы, обращенные к небесам.

А справа перед нами тянулись беспорядочные нагромождения зданий; то тут, то там виднелись остроконечные башенки или шпили, смотревшие сверху на сгрудившийся внизу сброд; и то тут, то там ленивое облачко дыма, а на переднем плане — лес мачт и суда с весело хлопающими по ветру парусами и развевающимися флагами. Лавируя среди них, через залив к противоположному берегу направлялись паромы, груженные людьми, экипажами, лошадьми, повозками, корзинами и ящиками; их путь неоднократно пересекали другие паромы; все это без передышки сновало взад и вперед. Среди этих неугомонных букашек важно возвышались два-три больших корабля, передвигавшихся медленно и величаво, словно существа высшей породы, которые относятся с пренебрежением к мелкой суетне и стремятся выйти в открытое море. За ними виднелись сверкающие вершины гор и острова на реке, блестящей в лучах солнца, и даль, едва ли менее глубокая и яркая, чем небо, в которое она, казалось, пе-

¹ «История Нью-Йорка, составленная Дидрихом Никкербокером» (1809) — сатирическое произведение американского писателя Вашингтона Ирвинга.

реходила. Шум и гул большого города, лязг лебедок, дребезжание звонков, лай собак, стук колес — все эти звуки отдавались и звенели в настороженном ухе. И вся эта жизнь и суета, проносясь над волнующейся водой, обрела новую силу от соприкосновения со свободной стихией и, вторя ее волнению, играла, как бы забавляясь, на поверхности залива, окружала пароход, высоко взметала воду у его бортов и любезно сопровождала его в док, чтобы через минуту снова улететь навстречу другим пришельцам и мчаться впереди них к шумному порту.

НЬЮ-ЙОРК

Прекрасное сердце Америки — далеко не такой чистенький город, как Бостон, но многие его улицы отличаются теми же характерными особенностями; только краска на домах не такая свежая, вывески не такие кричащие, позолоченные буквы не такие золотые, кирпич не такой красный, камень не такой белый, ставни и ограды не такие зеленые, дверные ручки и дощечки на дверях не такие яркие и блестящие. Здесь множество переулков, почти столь же бедных чистыми тонами красок и столь же изобилующих грязными, как и переулки Лондона; здесь есть также один квартал, известный под названием Файв Пойнтс, который по загаженности и убожеству ничуть не уступает Сэвен Дайелс или любой другой части знаменитого района Сент-Джайлс¹.

Многим известно, что большой проспект, служащий местом для прогулок, называется Бродвеем; это широкая и шумная улица, которая тянется мили на четыре от Бэттери Гарденс и до противоположного конца города, где она переходит в проселочную дорогу. Не присесть ли нам на верхнем этаже отеля Карлтон (расположенного в лучшей части этой главной нью-йоркской артерии), а когда надоест смотреть на жизнь, кишущую внизу, не выйти ли рука об руку на улицу и не смешаться ли с людским потоком?

Теплая погода! Солнечные лучи, проникая сквозь открытое окно, припекают головы, как будто их направляют

¹ Густо населенный район Лондона, где ютилась беднота.

на нас сквозь зажигательное стекло; день в самом разгаре, и погода стоит удивительная для этого времени года. Есть ли в мире еще такая солнечная улица, как Бродвей? Каменные плиты тротуаров отполированы бесчисленным множеством ног до полного блеска; красные кирпичи домов смотрят так, словно они все еще находятся в раскаленных печах, а при взгляде на крыши omnibusов кажется: пролей на них воду, и от них столбом пойдет пар и дым и запахнет горелым. Omnibusам здесь нет числа. С полдюжины проехало мимо за такое же количество минут. И масса наемных кебов и колясок: двуколки, фаэтоны, тильбюри с огромными колесами и собственные выезды — довольно неуклюжие и мало чем отличающиеся от omnibusов; они рассчитаны на плохие дороги, начинающиеся там, где кончаются городские мостовые. Кучера — негры и белые; в соломенных шляпах, черных шляпах, белых шляпах, в лакированных фуражках, в меховых шапках; в куртках бурого, черного, коричневого, зеленого, синего цвета, нанковых, холщовых или из полосатой бумази; а вон, — единственный случай (смотрите, пока он едет мимо, а то будет слишком поздно), — экипаж со слугами в ливреях. Это какой-то республиканец с юга, который нарядил своих чернокожих в ливрею и, словно какой-нибудь султан, весь раздулся от сознания собственного великолепия и могущества. А там, подальше, где остановился фаэтон, запряженный парой серых лошадей с аккуратно подстриженными хвостами и гривами, стоит грум из Йоркшира, совсем недавно прибывший в эти места. Он с грустью осматривается вокруг, ища товарища по занятию, и, возможно, ему с полгода придется колесить по городу, так и не встретив никого. Но дамы — бог мой, как они разодеты! За десять минут мы видели столько всевозможных расцветок, сколько в другом месте за десять дней не увидишь. Какие разнообразнейшие зонтики! Какие шелка и атласы всех цветов радуги! Какие розовые тонкие чулки и тесные остроносые туфли, развевающиеся ленты и шелковые кисти и целая выставка роскошных накидок с пестрыми капюшонами и на яркой подкладке! Молодые люди, как видно, предпочитают отложные воротнички, заботливо холят бакенбарды и особенно бородку, но и по одежде и по манерам им далеко до дам, — ведь они принадлежат к совсем особой разновидности рода человеческого. Проходите мимо, байроны конторки

и прилавка, дайте взглянуть, что это за люди шагают за вами, — те двое тружеников в праздничной одежде: один из них держит в руке измятый клочок бумаги и старается прочесть на нем трудное имя, а другой смотрит по сторонам, отыскивая это имя на всех дверях и окнах.

Оба они — ирландцы. Это можно было бы распознать, даже если бы они были в масках, по их длиннополым синим сюртукам и блестящим пуговицам, а также по их брюкам бурого цвета, которые они носят, как люди, привыкшие к рабочей одежде и чувствующие себя неловко во всякой другой. Вашим образцовым республикам трудно было бы существовать без соплеменников и соплеменниц этих двух тружеников. Кто же в таком случае стал бы копать и рыть землю, и выполнять черную домашнюю работу, и прорывать каналы, и прокладывать дороги, и осуществлять обширные замыслы по благоустройству страны? Оба они — ирландцы, и оба сейчас крайне озадачены: им неизвестно, как найти то, что они ищут. Подойдем и поможем им во имя любви к родине, из уважения к духу свободы, который учит нас ценить честные услуги, оказываемые честным людям, и честный труд ради честного куска хлеба, каким бы этот труд ни был.

Прекрасно! Наконец-то мы разобрали адрес, хотя он и написан действительно странными буквами, словно нацарапан тупой рукояткой лопаты, пользоваться которой человеку, писавшему записку, было гораздо привычнее, чем пером. Значит, вот куда лежит их путь, но что за дела заставляют их идти туда? Они несут свои сбережения... на книжку? Нет. Они — братья. Один из них пересек океан и за полгода тяжелого труда и еще более тяжелой жизни сумел скопить достаточные средства, чтобы выписать к себе и другого. После этого они работали вместе, бок о бок, еще полгода, безропотно деля тяжелый труд и тяжелую жизнь, чтобы дать возможность приехать и сестрам, а затем третьему брату и, наконец, старушке матери. А что теперь? Да, бедная старушка не может найти покоя в чужих краях и хочет, говорит, сложить свои косточки рядом с родными на старом кладбище, у себя дома, — так вот они идут заплатить за ее поездку домой; и да поможет бог ей, и им, и каждому, кто в простоте души спешит в Иерусалим своей юности и разжигает священный огонь в остывшем очаге отчего дома.

Этот узкий проспект, обожженный до пузырей палящими лучами солнца, — Уолл-стрит: товарная биржа и Ломбард-стрит¹ Нью-Йорка. Много богатств с головокружительной быстротой возникло на этой улице, и много было на ней не менее головокружительных банкротств. Некоторым из тех самых торговцев, которые, как видите, околачиваются здесь сейчас, случалось, подобно богачу из «Тысячи и одной ночи», запереть в сейфе деньги, а открыв его, обнаружить там одни сухие листья. Внизу, у набережной, где бугшприты кораблей протягиваются над тротуарами и чуть не влезают в окна, стоят на якоре прекрасные американские корабли, благодаря которым американское судоходство считается лучшим в мире. Они привезли сюда иностранцев, которыми кишат все улицы; возможно, их здесь не больше, чем в других торговых городах, но повсюду в других местах у них есть свои излюбленные прибежища, и их не так-то легко обнаружить, а здесь они заполняют весь город.

Мы снова должны пересечь Бродвей; нам становится словно немного прохладнее при виде больших глыб чистого льда, которые везут в магазины и бары, а также при виде ананасов и арбузов, в изобилии выставленных на витринах. Видите, какие здесь прекрасные улицы с просторными домами! Уолл-стрит пышно обставляла и потом опустошала многие из них. Дальше — большой зеленый тенистый сквер. А вот это наверняка гостеприимный дом, и вы всегда тепло будете вспоминать его обитателей: дверь открыта, и вы видите целую выставку растений внутри, а ребенок со смеющимися глазами смотрит из окна на маленькую собачку внизу. Вы удивляетесь, зачем тут, в переулке, этот высокий флагшток, — на верхушке его красуется что-то вроде головного убора статуи Свободы. Меня это тоже удивляет. Но в этих местах какая-то страсть к высоким флагштокам, и, если угодно, вы через пять минут можете увидеть его двойник.

Снова через Бродвей, и, покинув пеструю толпу и сверкающие витрины магазинов, мы вступаем на другой длинный проспект — Бауэри. А вон, дальше, видите — конка: рысцей бегут две рослые лошади, везущие без особого труда дюжину-другую людей да еще большой деревянный фургон впридачу. Магазины здесь победней, прохожие

¹ Улица в Лондоне, где находятся крупнейшие банки.

не такие веселые. Тут покупают готовое платье и готовые блюда, а бурный водоворот экипажей сменяется глухим грохотом тележек и повозок. В изобилии встречаются вывески, похожие на речные буйки или маленькие воздушные шарики, привязанные веревками к шестам и раскачивающиеся из стороны в сторону, — взгляните: они обещают вам «Устрицы во всех видах». Они соблазняют голодных, особенно вечером, когда тусклое мерцание свечей освещает изнутри эти напоминающие о яствах слова, и при виде их бродяга, остановившийся, чтобы прочесть надпись, начинает глотать слюнки.

Что за мрачный фасад — громада в псевдоегипетском стиле, похожая на дворец колдуна из мелодрамы? — Знаменитая тюрьма, именуемая «Гробницей». Зайдем?

Итак, длинное, узкое, очень высокое здание с неизбежными железными печками; внутри его по кругу идут галереи в четыре яруса, соединенные между собой лестницами. Чтобы удобнее было переходить с одной стороны на другую, от галереи к галерее посередине перекинут мостик. На каждом мостике сидит человек и дремлет, или читает, или болтает с праздным собеседником.

На каждом ярусе — друг против друга — двумя рядами тянутся маленькие железные двери. Они похожи на дверцы печей, только холодные и черные, словно огонь в печах погас. Две или три из них открыты, и какие-то женщины, склонив головы, разговаривают с обитателями камер. Свет падает сверху через окно в потолке, впрочем наглухо закрытое.

Появляется человек с ключами: он должен показать нам тюрьму. Парень приятной наружности и по-своему вежливый и предупредительный.

— Эти черные дверцы ведут в камеры?

— Да.

— Все камеры заполнены?

— Ну, прямо все до единой.

— Те, что внизу, несомненно вредны для здоровья?

— Да нет, мы сажаем туда только цветных. Чистая правда.

— Когда заключенных выводят на прогулку?

— Ну, они и без этого недурно обходятся.

— Разве они никогда не гуляют по двору?

— Прямо скажем, — редко.

— Но бывает, я думаю?

— Ну, не часто. Им и без того весело.

— Но предположим, человек проводит здесь целый год. Я знаю, что это тюрьма лишь для преступников, обвиняемых в тяжких преступлениях, и они сидят здесь, пока находятся под следствием или же в ожидании суда, но здешние законы дают преступникам много возможностей затягивать дело. Если, например, подано заявление о пересмотре дела, или об отсрочке приговора, или еще что-нибудь подобное, заключенный, насколько я понимаю, может пробыть здесь целый год, не так ли?

— Пожалуй, что и так.

— Вы хотите сказать, что за все это время он ни разу не выйдет за эту маленькую железную дверцу, чтобы немного поразмяться?

— Может, и погуляет, — самую малость.

— Не откроете ли одну из дверей?

— Хоть все, если желаете.

Засовы скрипят и громыхают, и одна из дверей медленно поворачивается на петлях. Давайте заглянем внутрь. Маленькая голая камера, свет проникает в нее сквозь узкое окошечко под самым потолком. В камере имеются примитивные приспособления для умывания, стол и койка. На койке сидит человек лет шестидесяти и читает. На мгновение он поднимает глаза, нетерпеливо передергивает плечами и снова устремляет взгляд в книгу. Мы делаем шаг назад, — дверь тотчас захлопывается, и засовы задвигаются. Этот человек убил свою жену, и его, вероятно, повесят.

— Давно он здесь?

— Месяц.

— Когда его будут судить?

— В следующую сессию.

— То есть когда же это?

— В следующем месяце.

— В Англии даже человеку, приговоренному к смертной казни, дают возможность подышать воздухом и поразмяться в определенное время дня.

— Вот как?

С каким изумительным, непередаваемым хладнокровием произносит он эти слова и как лениво ведет нас на женскую половину тюрьмы; при этом он на ходу постукивает ключом по перилам лестницы — это напоминает железные кастаньеты.

В дверях камер на этой стороне прорезаны квадратные глазки. Некоторые женщины при звуке шагов испуганно выглядывают оттуда, другие, застыдясь, отступают в глубь камер. — За какое злодеяние держат здесь этого одинокого ребенка лет десяти — двенадцати? А этого мальчишку? Это сын заключенного, которого мы только что видели; он должен выступать в качестве свидетеля против собственного отца, а сюда его посадили, чтобы он никуда не делся до суда, — вот и все.

Но ведь это ужасное место для ребенка, обреченного проводить здесь долгие дни и ночи. Не слишком ли суровое обращение с молодым свидетелем? Что же говорит на это наш проводник?

— Да, уж тут не разгуляешься, факт!

Снова он трещит своими металлическими кастаньетами и, не торопясь, ведет нас дальше. По пути у меня возникает вопрос.

— Скажите, пожалуйста, почему это место называют «Гробницей»?

— Да уж так окрестили.

— Я знаю. Но почему?

— Тут было несколько самоубийств, когда тюрьму только построили. Пожалуй, отсюда это и пошло.

— Я заметил, что вся одежда человека, сидящего вон в той камере, разбросана по полу. Разве вы не требуете от заключенных, чтобы они были аккуратны и убирали свои вещи?

— А куда они их уберут?

— Не на пол же, конечно. Ну, вешали бы их на гвоздь.

Он останавливается и, чтобы лучше подчеркнуть свои слова, осматривается вокруг.

— Вот, вот именно. Когда у них были гвозди, они то и дело сами вешались; поэтому гвозди и убрали из всех камер, и теперь от них остались одни лишь следы в стенах.

На тюремном дворе, где мы теперь задерживаемся, разыгрываются подчас ужасные сцены. В этот узкий колодец, похожий на могилу, приводят людей, обреченных на смерть. Несчастный стоит под виселицей на земле; на шею его накинута петля; по сигналу падает груз с другой стороны виселицы и вздергивает человека в воздух, превращая его в труп.

Закон требует, чтобы при этом тягостном зрелище присутствовал судья, присяжные и еще двадцать пять

граждан. От глаз общества оно скрыто. Для людей распущенных и дурных все это остается страшной тайной. Между преступником и ними стоит тюремная стена, подобно густой мрачной завесе. Это полог, скрывающий смертное ложе преступника, это его саван и его могила. А от него самого она заслоняет жизнь и устраняет все, что в этот последний час могло бы побудить его к упорству и нежеланию раскаяться, — ведь для этого подчас бывает достаточно одного присутствия и вида человека. Тут нет дерзких глаз, которые придали бы ему дерзости, и нет головорезов, которые поддержали бы «славу его имени». Все, что находится за этой безжалостной каменной стеной, тонет в неизвестности.

Давайте снова пойдем по веселым улицам.

Опять Бродвей! Те же дамы, одетые в яркие цвета, прогуливаются здесь взад и вперед, парами и в одиночку; а чуть подалее — тот самый светлоголубой зонтик, который раз двадцать проплыл мимо окон отеля, пока мы там сидели. Вот тут мы перейдем улицу. Осторожно — свиньи! Вон за тем экипажем бегут рысцей две дородные хавроньи, а избранная компания — с полдюжины свинтусов — только что завернула за угол.

А вот одинокий боров лениво бредет во-свояси. У него только одно ухо, — другое он оставил в зубах у бездомных собак во время своих странствий по городу. Но он великолепно обходится и одним ухом и ведет беспутную, рассеянную, светскую жизнь, в известной мере сходную с жизнью клубменов у нас на родине. Каждое утро в определенный час он покидает свое жилище, отправляется в город, проводит день в полное свое удовольствие и вечером снова неизменно появляется у двери собственного дома, подобно таинственному хозяину Жилия Блаза¹. Это боров из числа легкомысленных, беззаботных и равнодушных свиней; у него много знакомых среди свиней одного с ним нрава, — знакомство, впрочем, скорее шапочное, поскольку он редко затрудняет свою особу остановками и обменом любезностями, а обычно бредет, похрюкивая, вдоль водосточной канавы, подбирая городские новости и сплетни в виде кочерыжек и потрохов и рассказывая лишь то, чему был свидетелем его собственный хвост,

¹ Герой одноименного романа французского писателя Лесажа (1668—1747).

кстати чрезвычайно короткий, ибо и он побывал в зубах его давних врагов, которые оставили от него чуть побольше воспоминания. Этот боров — республиканец во всех отношениях; он бывает всюду, где ему заблагорассудится, и, вращаясь в лучшем обществе, держится со всеми на равной ноге, а пожалуй, что и с чувством превосходства, — ведь при его появлении все расступаются и самые высокомерные по первому требованию дают ему дорогу. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, за исключением упомянутых выше собак. Правда, иногда вы можете заметить, как его маленькие глазки вспыхивают при виде зарезанного приятеля, чья туша украшает вход в лавку мясника; «Такова жизнь: всякая плоть — свинина», — ворчит он, снова зарывается пяточком в грязь и бредет вперевалку вдоль канавы, утешая себя мыслью, что теперь во всяком случае среди охотников за кочерыжками стало одним рылом меньше.

Они городские мусорщики, эти свиньи. Ну и безобразная же, надо сказать, скотина: по большей части у них костлявые бурые спины, похожие на крышки старых сундуков, из обивки которых вылезает волос; все они покрыты какими-то весьма неаппетитными черными пятнами. Ноги у них длинные, тощие, а морды такие острые, что если бы уговорить одну из них позировать в профиль, никто не признал бы в ней сходства со свиньей. Никто никогда не заботится о них, не кормит их, не загоняет и не ловит; с раннего детства они предоставлены самим себе, что развивает в них сверхъестественное чутье. Каждая свинья отыскивает свое место жительства куда лучше, чем если бы ей кто-нибудь указывал его. В этот час, перед наступлением темноты, можно видеть, как они десятками бредут во-свояси, до самой последней минуты пожирая все на своем пути. Иногда какой-нибудь объевшийся или затравленный собаками юнец опрометью бежит домой, подобно блудному сыну; но это редкое исключение: их отличительные черты — полнейшее самообладание, самоуверенность и непоколебимое спокойствие.

На улицах и в магазинах теперь зажглись огни, и когда вы смотрите вдоль длинного проспекта, унизанного яркими язычками газа, вспоминается Оксфорд-стрит или Пикадилли. То тут, то там несколько широких каменных ступеней ведут в подвал, и цветной фонарик указывает вам путь в салун, где играют в шары, или в кабачок с кегель-

баном, — там играют в кегли на десять фигур — игра, которая требует и ловкости и удачи; она была изобретена, когда конгресс принял закон, запретивший игру в обыкновенные кегли на девять фигур. У других лестниц, ведущих вниз, висят другие фонарики, призывающие в устричные погребки, — приятные местечки, сказал бы я, не только благодаря отменному приготовлению устриц, величиной чуть не с тарелочку для сыра, но и потому, что из всех категорий пожирателей рыбы, мяса или дичи в этих широтах только у глотателей устриц отсутствует стадный инстинкт: уподобляясь по характеру ракушкам, которые им приходится вскрывать, и подражая замкнутости устриц, которые составляют их пищу, они сидят порознь в нишах с задернутыми занавесями и задают пиры на две, а не на двести персон.

Но какая тишина на улицах! Разве нет бродячих музыкантов, играющих на духовых или струнных инструментах? Ни единого. Разве днем здесь не бывает представлений петрушки, театра марионеток, дрессированных собачек, жонглеров, фокусников, оркестрионов или хотя бы шарманщиков? Нет, никогда. Впрочем, я припоминаю кое-что. Шарманщика с обезьянкой — игривой по натуре, но быстро превратившейся в вялую, неповоротливую обезьяну утилитарной школы. Но больше ничто не оживляет улиц; не встретишь даже такой ерунды, как белая мышь в вертящейся клетке.

Разве здесь нет развлечений? Как же, есть, — вон там, через дорогу, лекционный зал, откуда вырываются снопы света; трижды в неделю, а то и чаще, бывают вечерние богослужения для дам. Для молодых джентльменов существуют контора, магазин и бар; последний, как вы можете заметить, заглянув в эти окна, порядком набит. Трах! Стук молотка, разбивающего куски льда, и освежающее шуршанье раздробленных кусочков, когда в процессе сбивания коктейлей они перемещаются из одного стакана в другой. Никаких развлечений? А что же, по-вашему, делают эти сосатели сигар и поглотители крепких напитков, чьи шляпы и ноги занимают самые разнообразные и неожиданные положения, — разве они не развлекаются? Разве пятьдесят газет, заголовки которых выкрикивают на всю улицу эти преждевременно повзрослевшие пострелята и которые старательно подшиваются здешними жителями, — разве это не развлечение? И не какие-нибудь

пресные, водянистые развлечения, — вам преподносится крепкий, добротный материал: здесь не брезгают ни клеветой, ни оскорблениями; срывают крыши с частных домов, словно Хромой бес в Испании¹; сводничают и способствуют развитию порочных вкусов во всех разновидностях и набивают наспех состряпанной ложью самую ненасытную из утроб; поступки каждого общественного деятеля объясняют самыми низкими и гнусными побуждениями; от недвижимого, израненного тела политики отпугивают всякого самаритянина, приближающегося к ней с чистой совестью и добрыми намерениями; с криком и свистом, под гром рукоплесканий тысяч грязных рук выпускают на подмостки отъявленных мерзавцев и гнуснейших мошенников.

А вы говорите, что нет развлечений!

Давайте снова пустимся в путь: пройдем сквозь эти дебри, именуемые отелем, нижний этаж которого заполнен магазинами, — он похож на театр где-нибудь на континенте или на Лондонскую оперу, только без колони, — и окунемся в толпу на Файв Пойнтс. Но, во-первых, необходимо взять с собой в качестве эскорта этих двух полицейских, которых вы признали бы по их энергии и безукоризненной выправке, даже если бы встретились с ними в Великой пустыне. Видно, правда, что известный род деятельности, где бы ею ни занимались, накладывает на человека определенный отпечаток. Эти двое вполне могли бы быть зачаты, рождены и выращены на Бау-стрит².

Ни днем, ни ночью мы нигде не встречаем нищих, но всяких других бродяг — великое множество. Бедность, нищета и порок пышно процветают там, куда мы сейчас направляемся.

Вот оно, это переплетение узких улиц, разветвляющихся направо и налево, грязных и зловонных. Такая жизнь, какою живут на этих улицах, приносит здесь те же плоды, что и в любом другом месте. У нас на родине, да и во всем мире, можно встретить грубые, обрюзгшие лица, подобные тем, что вы видите у ворот этих домов. Даже сами дома преждевременно состарились от разврата. Видите, как прогнулись подгнившие балки и как окна

¹ Фантастическое действующее лицо сатирического романа «Хромой бес» (1707) французского писателя Лесажа.

² Улица в Лондоне, на которой находится главное полицейское управление.

с выбитыми или составленными из кусочков стеклами глядят на мир хмурым, затуманенным взглядом, точно глаза, подбитые в пьяной драке. Многие из знакомых уже нам свиной живут здесь. Не удивляет ли их иной раз, что их хозяева ходят на двух ногах, вместо того чтобы бегать на четвереньках? И что они говорят, а не хрюкают?

Почти каждый из домов, которые мы до сих пор видели, представляет собой таверну с низким потолком; стены баров украшены цветными литографиями Вашингтона¹, английской королевы Виктории и изображениями американского орла. Между углублениями, в которых стоят бутылки, вкраплены кусочки зеркала и цветные бумажки, — даже здесь в какой-то мере чувствуется любовь к украшениям. И поскольку завсегда эти пригонов — моряки, на стенах красуется с десятков картинок на морские сюжеты; прощания матросов с возлюбленными, портреты Уильяма из баллады и его черноокой Сьюзен, храброго контрабандиста Уила Уотча, пирата Поля Джонсона и тому подобных личностей; королева Виктория вкупе с Вашингтоном изумленно взирают своими нарисованными глазами на эту странную компанию и на те сцены, которые частенько разыгрываются в их присутствии.

Что это за место? Куда ведет эта убогая улица? Мы выходим на подобие площади, окруженной домами, словно изъеденными проказой; в некоторые из них можно войти, лишь поднявшись по шаткой деревянной лестнице, пристроенной снаружи. Что там, за этими покосившимися ступенями, которые скрипят под нашими ногами? Убогая комнатенка, освещенная тусклым светом единственной свечи и лишенная каких-либо удобств, если не считать тех, которые предоставляет обитателю жалкая постель. У постели сидит человек; опершись локтями на колени, он сжал ладонями виски.

— Чем болен? — спрашивает полицейский, входя первым.

— Лихорадка, — угрюмо отвечает человек, не поднимая головы.

Представьте себе, какие картины проносятся в лихорадочном мозгу больного, находящегося в подобном месте.

¹ Джордж Вашингтон (1732—1799) — главнокомандующий американскими войсками во время войны с Англией за независимость; впоследствии — первый президент США.

Поднимитесь в непроницаемой тьме по этой лестнице, — только, смотрите, не оступитесь: тут может нехватать одной из расшатанных ступенек, — и, нащупывая в темноте дорогу, пройдите со мной в это мрачное логово, куда, кажется, не проникает ни луч света, ни дуновение свежего воздуха. Негритянский паренек, пробужденный от сна голосом полицейского, — который достаточно хорошо ему знаком, — но успокоившийся после заверения, что полицейский пришел не по делу, угодливо копошится, стараясь зажечь свечу. Спичка вспыхивает на мгновение, освещая груды пыльных лохмотьев на полу; затем огонек гаснет, и наступает еще бóльшая тьма, чем прежде, если тут вообще применимы степени сравнения. Парнишка, спотыкаясь, бежит вниз по лестнице и тотчас возвращается, прикрывая рукой неровное пламя огарка. И тогда груды лохмотьев начинают шевелиться, медленно приподнимаются, и нашему взору вдруг предстает множество просыпающихся негритянок; их белые зубы стучат, блестящие глаза, моргая от удивления и страха, смотрят со всех сторон, — словно какое-то странное зеркало многократно повторило одно и то же черное лицо с застывшим на нем выражением изумления.

Поднимемся теперь с неменьшей осторожностью по другой лестнице (тут немало западней и ловушек для тех, у кого нет такой надежной охраны, как у нас) и взберемся на самый верх, — голые балки стропила перекрещиваются у нас над головой, а спокойная ночь глядит сквозь щели в крыше. Откроем дверь одной из этих тесных клеток, переполненных спящими неграми. Ого! Да у них тут разведен огонь и в воздухе пахнет паленым — то ли горячей одеждой, то ли обожженным телом, так близко они пристроились к жаровне; комната полна удушливых испарений, от которых режет глаза. Очутившись в этом мрачном убежище, вы оглядываетесь вокруг и видите, как из всех углов выползают полусонные существа, словно близится страшный суд и каждая гнусная могила извергает своего мертвеца. Сюда, где даже собаки погнушались бы лечь, крадучись пробираются на ночлег женщины, мужчины и дети, заставляя потревоженных крыс отправляться на поиски лучшего обиталища.

Есть в этом квартале тупики и переулки, мощенные грязью, доходящей до колен; подвалы, где эти люди пляшут и играют, — стены их украшены грубыми рисун-

ками, изображающими корабли и крепости, а также флаги и бесчисленных американских орлов; разрушенные дома, все нутро которых видно с улицы, а сквозь широкие расселины в стенах просвечивают другие развалины, словно миру порока и нищеты нечего больше показать; отвратительные притоны, названия которых происходят от слов «кража» и «убийство». Все, что есть гнусного, опустившегося и разлагающегося, — все вы найдете здесь.

Наш проводник держит руку на щеколде двери, ведущей в «Олмэкс», и, стоя на нижней ступеньке лестницы, окликает нас, — чтобы попасть в зал фешенебельного заведения в Файв Пойнтс, надо спуститься под землю. Зайдем? Только на минутку.

Ого! И преуспевает же хозяйка «Олмэкса»! Это дебилая мулатка со сверкающими глазами, голова ее кокетливо повязана пестрым платком. Не отстает от нее в щегольстве и сам хозяин: на нем франтоватая синяя куртка, похожая на те, что носят пароходные стюарды; на мизинце блестит толстое золотое кольцо, а вокруг шеи обвилась золотая цепь от часов. Как он рад видеть нас! Что нам угодно заказать? Танец? Сию минуту, сэр, — увидите настоящую пляску.

Дородный черный скрипач и его приятель с бубном в руках подходят к краю небольшой эстрады, на которой они обычно восседают; раздается веселая мелодия. Пять или шесть пар выходят танцевать под предводительством веселого молодого негра — души общества и лучшего из известных здесь танцоров. Он без конца строит рожи к великому удовольствию всех остальных, а они не перестают улыбаться во весь рот. Среди танцующих — две молодые мулатки с большими черными, скромно потупленными глазами; головы их повязаны по той же моде, что и у хозяйки; они очень смущаются, — или только прикидываются смущенными, — словно никогда раньше не танцевали, и потому не поднимают глаз на присутствующих, и их кавалеры не видят ничего, кроме длинных, загнутых ресниц.

Но вот начинается танец. Каждый джентльмен выстраивает перед своей дамой, сколько ему заблагорассудится, а его дама так же долго выстраивает перед ним, и все это длится столько времени, что развлечение начинает становиться в тягость, как вдруг на помощь выскакивает веселый герой. Скрипач тотчас осклабился и принялся изо

всех сил пикировать на скрипке; энергичней забренчал бубен; веселей заулыбались танцоры; радостней засияло лицо хозяйки; живей зашевелился хозяин; ярче загорелись даже свечи. Глиссад, двойной глиссад, шассе и круазе; он щелкает пальцами, вращает глазами, выворачивает колени, вывертывает ноги, кружится на носках и на пятках, будто для него ничего не существует, кроме пальцев человека, отбивающего такт на бубне; он танцует, словно у него две левые ноги, две правые ноги, две деревянные ноги, две проволочные ноги, две пружинные ноги, — всякие ноги и никаких ног, — и все ему нипочем. Когда еще, в жизни или в танце, награждали человека таким громом аплодисментов, какие раздались, как только он закончил танец, закружив до полусмерти свою даму, да и самого себя, с победоносным видом вскочил на стойку и потребовал чего-нибудь выпить, неподражаемо хмыкнув при этом, как хмыкают миллионы Джимов Кроу? ¹

Уличный воздух, даже в этих зачумленных кварталах, кажется свежим после удушающей атмосферы жилых помещений; теперь же, когда мы вышли на более широкую улицу, ветерок подул нам в лицо своим чистым дыханием и звезды снова стали яркими. Вот опять «Гробница». Городская караульня занимает часть здания. Она является как бы естественным продолжением всего, что мы только что видели. Осмотрим ее и потом — спать.

Как! Неужели тех, кто лишь нарушил правила, установленные полицией в этом городе, бросают в подобные дыры? Неужели люди, может быть даже неповинные в каких-либо преступлениях, должны лежать здесь всю ночь в полнейшей тьме, в зловонных испарениях, окутывающих эту еле мерцающую лампу, которая освещает нам путь, и дышать этим гнусным, отвратительным смрадом? Ведь столь непристойная и мерзкая тюрьма, как эти клетки, навлекла бы позор даже на самую деспотическую империю в мире! Да посмотри же на них, — ты, что видишь их каждый вечер и хранишь ключи от них. Знаешь ли, что это такое? Видел ты когда-нибудь, как устроены сточные трубы под городскими мостовыми, — чем же отличается от них этот сток для человеческих нечистот, — разве тем, что отбросы застаиваются в нем?

Ну, он не знает. У него в этой камере бывало заперто

¹ Джим Кроу — прозвище негров в Америке.

по двадцать пять молодых женщин, и вы даже не представляете, какие хорошенькие личики там попадались.

Ради бога, захлопните дверь, чтоб не видно было жалкого создания, что сидит там сейчас; опустите занавес над местом, которому по процветающему в нем пороку, запустению и жестокости не найти равного в наихудшем старом городе Европы.

Верно ли, что в этих черных дырах целую ночь держат людей без всякого суда? — Именно так. Караул выставляют в семь часов вечера. Судья открывает заседание суда в пять часов утра. Это самый ранний час, когда первый арестант может быть освобожден, а если против него дает показания какой-нибудь полицейский чин, его не выведут отсюда до девяти, а то и до десяти часов. — А что если кто-нибудь из них тем временем умрет, — был ведь недавно такой случай? Тогда за какой-нибудь час его наполовину съедят крысы, как это и было в тот раз; вот и все.

Что там за невыносимый звон больших колоколов, грохот колес и крики в отдалении? Это пожар. А что это за багровый отсвет с другой стороны? — Другой пожар. А что это за обуглившиеся и почерневшие стены перед нами? Дом, где был пожар. Не так давно в одном официальном сообщении был сделан более чем прозрачный намек на то, что зачастую эти пожары не совсем случайны и что спекулянты и ловкачи извлекают выгоду даже из пламени, — но как бы то ни было, прошлой ночью был один пожар, сегодня ночью — два, и можете держать пари на сто против ста, что завтра будет, по меньшей мере, еще один. Итак, утешаясь подобными мыслями, давайте пожелаем друг другу спокойной ночи и отправимся наверх спать.

В один из дней моего пребывания в Нью-Йорке я посетил различные общественные учреждения на Лонг-Айленде или Род-Айленде, — забыл на котором из двух. Одним из этих учреждений был приют для умалишенных. Помещение — красивое; самое примечательное в нем — широкая и нарядная лестница. Здание еще не достроено, но уже и сейчас оно внушительных размеров и занимает обширную площадь: в нем можно разместить весьма значительное число пациентов.

Не могу сказать, чтобы это благотворительное заведение оставило по себе особенно отрадную память. Много-

численные палаты можно было бы содержать в большей чистоте и большем порядке; здесь я не увидел и следа той благотворной системы, которая произвела на меня столь благоприятное впечатление в других местах: на всем лежал отпечаток унылой праздности сумасшедшего дома, тягостный для постороннего наблюдателя. Grimасы скорчившегося в углу идиота с длинными растрепанными волосами; невнятные бормотанья маньяка, с отвратительным смехом указывающего на что-то пальцем; блуждающие взгляды, ожесточенные, дикие лица, лихорадочные движения людей, мрачно кусающих губы и руки и грызущих ногти, — все это представлялось тут глазу без всякой маски, во всем своем неприкрытом безобразии и ужасе. В столовой, пустой, унылой и мрачной комнате с голыми стенами, была заперта одинокая женщина. Мне сказали, что она одержима манией самоубийства. Если что-нибудь и могло укрепить в ней такое решение, так это, конечно, невыносимая монотонность подобного существования.

Зрелище жуткой толпы, наполнявшей эти залы и галереи, до такой степени потрясло меня, что я постарался сократить, насколько возможно, свое пребывание здесь и отказался посетить ту часть здания, где под более строгим надзором содержались неизлечимые и буйные. Не сомневаюсь, что джентльмен, стоявший во главе этого учреждения в то время, о котором я пишу, был достаточно сведущ в вопросах, связанных с управлением им, и употреблял все возможные усилия, чтобы сделать его более полезным, — но поверят ли мне, что презренная межпартийная борьба оказывает влияние даже на это печальное убежище обездоленного и страдающего человечества? Поверят ли мне, что глаза, призванные наблюдать и следить за блужданиями умов, пораженных самою страшною бедой, какая только может стрястись над человеком, должны смотреть на все сквозь очки той или иной политической клики? Поверят ли мне, что руководителя подобного дома назначают, смещают или заменяют в зависимости от смены партий у власти и от того, в какую сторону поворачиваются их презренные флюгеры? Десятки раз на день меня поражали мелочные проявления того тупого и вредоносного духа партийного пристрастия, который свирепствует в Америке подобно самуму в пустыне, заражая и разрушая все, что только есть здорового в ее жизни, но никогда мной не овладевало столь глубокое отвращение

и безграничное презрение, как когда я перешагнул порог нью-йоркского дома для умалишенных.

Неподалеку от этого здания находится другое, именуемое Домом призрения, — иначе говоря, местный работный дом. Это тоже большое учреждение: когда я был там, в нем жило, кажется, около тысячи бедняков. Оно помещалось в плохо проветриваемом и плохо освещенном здании, не отличавшемся чистотой, и произвело на меня, в целом, весьма неблагоприятное впечатление. Следует, однако, помнить, что в Нью-Йорке — крупном торговом центре, городе, куда съезжаются люди не только из всех уголков Соединенных Штатов, но и со всех концов света, — всегда масса бедняков, о которых нужно как-то заботиться, и потому дело призрения здесь связано с особенными трудностями. Не следует также забывать, что Нью-Йорк — большой город, а во всех больших городах много зла и добра перемешано вместе.

Тут же, поблизости, расположена «ферма», где воспитывают малолетних сирот. Я там не был, но полагаю, что дело в ней поставлено хорошо; я с тем большей легкостью могу поверить этому, что знаю, как чтят в Америке прекрасные слова молитвы о больных и сирых.

Меня привезли в эти учреждения водой, в лодке, принадлежащей Островной тюрьме; гребцами были заключенные, одетые в форму — черную с полосами цвета буйволловой кожи, — они были похожи в ней на обליнявших тигров. Тем же способом доставили меня и в самую тюрьму.

Это — старая тюрьма, и в ней только сейчас вводится уже описанная мною система. Я рад был услышать это; так как тюрьма несомненно производит плохое впечатление. Однако там стараются наилучшим образом использовать все имеющиеся возможности, и все настолько хорошо организовано, насколько это мыслимо в таком месте.

Женщины работают в крытых помещениях, специально построенных для этой цели. Если мне не изменяет память, мастерских для мужчин не существует, но, как бы то ни было, большинство из них работает в каменоломнях, расположенных совсем рядом. Поскольку погода была уж очень сырая, работы там не производились, и заключенные сидели по камерам. Представьте себе эти камеры, числом двести или триста, и в каждой заперто по чело-

веку: этот прильнул к двери, чтобы подышать воздухом, — руки его просунуты сквозь решетку; вон тот лежит в постели (а ведь, если помните, дело происходит днем), а этот рухнул на пол и, словно дикий зверь, уткнулся лбом в брусья решетки. Представьте себе, что на улице льет дождь как из ведра. Поставьте посредине помещения неизбежную, пышащую жаром печь, от которой, как от котла ведьмы, подымаются удушливые испарения. Прибавьте к этому букет приятных ароматов, подобных тем, которые исходят от тысячи покрытых плесенью и насквозь мокрых зонтов и тысячи лоханок с разведенным щелоком, полных недостиранного белья, — и вы представите себе тюрьму, какую она была в тот день.

А вот, например, тюрьма штата «Синг-Синг» — образцовая. Эта тюрьма, а также та, что в Оберне, повидимому, самые крупные, и их можно считать наилучшим примером описанной системы.

В другой части города находится приют для трудно-воспитуемых — задача этого учреждения исправлять молодых преступников, как юношей, так и девушек, как белых, так и черных — без различия; их учат полезным ремеслам, отдают в обучение уважаемым мастерам и превращают в достойных членов общества. Когда я осматривал это почтенное благотворительное заведение, я вдруг усомнился, достаточно ли его глава знает жизнь людей и не совершает ли он большой ошибки, обращаясь как с малыми детьми с некоторыми девушками, которых во всех отношениях — и по годам, и по их прошлому — правильнее назвать женщинами; это бесспорно казалось мне, — а если не ошибаюсь, то и им, — весьма нелепым. Однако, поскольку это учреждение находится под постоянным бдительным надзором целого органа, состоящего из джентльменов большого ума и опыта, дело в нем не может быть поставлено плохо; прав ли я в этой маленькой частности или нет, — не столь важно с точки зрения целей организации и ее заслуг, а эти последние было бы трудно переоценить.

В дополнение к названным учреждениям в Нью-Йорке имеются превосходные больницы и школы, литературные общества и библиотеки, замечательная пожарная команда (что и неудивительно, при наличии столь частой практики) и благотворительные заведения всякого рода и сорта. За городом находится обширное кладбище, оно еще не вполне

благоустроено, но с каждым днем все улучшается. Самой грустной могилой, какую я там видел, была «Могила чужеземца. Отведена для городских отелей».

В городе три крупных театра. Два из них — «Парк» и «Бауэри» — занимают большие элегантные и красивые здания, и я с сожалением вынужден признать, что они обычно пустуют. Третий — «Олимпик» — крошечная коробочка, где ставят водевили и фарсы. Им на редкость хорошо руководит мистер Митчелл, комический актер большой оригинальности и спокойного юмора, — его прекрасно помнят и чтят лондонские театралы. Я счастлив сообщить об этом достойном джентльмене, что скамьи его театра обычно заполнены доотказа и в зале каждый вечер звучит смех. Я чуть не забыл о маленьком летнем театре под названием «Ниблос», при котором имеется сад с различными увеселениями, но полагаю, что и он не составляет исключения и так же, как и все театры, страдает от депрессии, охватившей, к несчастью, «театральную коммерцию» или то, что в шутку так именуется.

Местность вокруг Нью-Йорка необычайно, чарующе живописна. Климат — на что я уже указывал — более чем теплый. Я не хочу, чтобы меня или моих читателей начала трепать лихорадка, и потому не буду задаваться вопросом, что бы творилось в Нью-Йорке, если бы с чудесного залива, на берегу которого он расположен, не дул по вечерам морской бриз.

Тон, коего придерживается в этом городе лучшее общество, сходен с тем, который царит в Бостоне; здесь, пожалуй, в несколько большей мере чувствуется меркантильный дух, но для общего тона характерны лоск, утонченность и неизменное гостеприимство. Дома и стол отличаются изысканностью; встают и ложатся здесь позднее, нравы несколько свободнее, и здесь, пожалуй, сильнее развито соперничество в щегольстве и умении выставить напоказ богатство и жить на широкую ногу. Дамы необычайно красивы.

Прежде чем покинуть Нью-Йорк, я принял меры, чтобы обеспечить себе обратный проезд на пакетботе «Джордж Вашингтон», — согласно объявлению он должен был отплыть в июне, именно в том месяце, когда я рассчитывал покинуть Америку, если никакое происшествие не задержит меня в моих скитаниях.

Никогда не думал я, что, уезжая обратно в Англию,

возвращаясь ко всем, кто мне дорог, а также к своим занятиям, столь незаметно ставшим частью меня самого, я буду чувствовать такую грусть, какую я испытывал, когда на борту этого корабля простился, наконец, со своими нью-йоркскими друзьями, сопровождавшими меня в моих поездках. Никогда не думал я, что имя города, столь далекого и столь недавно ставшего мне знакомым, может оказаться для меня связанным с таким множеством теплых воспоминаний, какое сейчас теснится вокруг этого имени. В этом городе есть люди, чье присутствие осветило бы для меня самый темный зимний день, какой когда-либо зарождался и угасал где-нибудь в Лапландии, и даже мысль о родине затуманилась, когда я обменялся с ними тем горьким словом, которое сопутствует всем нашим мыслям и делам, бродит призраком у нашей колыбели в дни детства и замыкает наш жизненный путь в старости.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ И ЕЕ ОДИНОЧНАЯ ТЮРЬМА

Путешествие из Нью-Йорка в Филадельфию совершается по железной дороге и затем на двух паромах; обычно на это уходит часов пять-шесть. Был чудесный вечер, когда мы ехали в поезде; я любовался ярким закатом из маленького окошка около двери, у которой мы сидели, как вдруг меня поразило удивительное зрелище (источник моего развлечения находился в окнах вагона для джентльменов, непосредственно впереди нас): сперва я думал, что какие-то трудолюбивые пассажиры этого вагона вспарывают перины и выбрасывают на ветер перья. Наконец мне пришло в голову, что они всего лишь плюются, — так оно в действительности и было; впрочем, несмотря на все сведения по части слюноиспускания, которые я приобрел впоследствии, я до сих пор не в силах понять, как тому количеству людей, какое мог вместить этот вагон, удавалось поддерживать такой веселый и непрестанный душ из слюны.

Во время этого путешествия я познакомился с кротким и скромным молодым квакером; в начале беседы он торжественным шопотом сообщил мне, что его дед изобрел холодный способ получения касторового масла. Я упомянул здесь об этом обстоятельстве, так как полагаю, что это был первый случай, когда названное ценное лекарство сыграло роль словесного слабительного.

Мы прибыли в город поздно вечером. Выглянув из окна моей комнаты, прежде чем лечь в постель, я увидел на противоположной стороне улицы красивое здание из белого мрамора, на котором лежал какой-то погребальный, призрачный отпечаток, наводивший тоску. Я припи-

сал это сумрачному вечернему освещению и, встав утром, снова выглянул из окна, надеясь увидеть толпы народа, деловито снующие вверх и вниз по его ступеням. Двери, однако, были попрежнему плотно затворены; вокруг царила та же холодная, затхлая атмосфера, и, казалось, лишь мраморная статуя дона Гусмана могла бы вести какие-либо дела в этих мрачных стенах. Я поспешил выяснить, как называется и что представляет собой это здание, и тогда я перестал удивляться. Это была гробница многих богатств, великие катакомбы капитала, — незабвенный Банк Соединенных Штатов.

Прекращение названным банком платежей и разорительные последствия этого наложили (как мне говорили со всех сторон) мрачный отпечаток на Филадельфию, который до сих пор чувствуется в ее жизни. И в самом деле есть в этом городе что-то унылое и безотрадное.

Филадельфия — красивый город, но раздражающе прямолинейный. Пробродив по нему часа два, я почувствовал, что готов отдать весь мир за одну кривую улицу. Под влиянием господствующего здесь квакерского духа воротник моего сюртука, казалось, сделался более жестким, а поля шляпы более широкими. Волосы стали коротенькими и прилизанными, руки сами собой благочестиво сложились на груди, и помимо моей воли в голову полезли мысли о том, чтобы поселиться на Парк Лейн близ Рыночной площади и нажить состояние на спекуляции зерном.

Филадельфия в изобилии обеспечена свежей водой; вода льется, течет, брызжет и бьет фонтаном отовсюду. Водопроводная станция, расположенная на холме, неподалеку от города, соединяет в себе приятное с полезным; вокруг нее со вкусом разбит общественный сад, который содержится в полнейшем и наилучшем порядке. В этом месте реку перегораживает плотина, и самая сила течения заставляет поток устремляться в глубокие водоемы или резервуары, откуда весь город, вплоть до верхних этажей домов, получает воду за самую ничтожную плату.

В городе имеются различные общественные учреждения. Среди них превосходнейшая больница — квакерское заведение, но ничуть не сектантского толка, судя по той большой пользе, которую она приносит; тихая, старомодная библиотека, носящая имя Франклина; красивые здания биржи и почты и так далее. Кстати о квакерской больнице — там висит картина кисти Уэста, которая вы-

ставлена для пополнения фондов указанного заведения. На картине изображен спаситель, исцеляющий больного, и это, пожалуй, лучший образец работы названного мастера. Считать ли такой отзыв хорошим или плохим — это зависит от вкуса нашего читателя.

В той же комнате висит очень характерный и правдивый портрет кисти мистера Салли, известного американского художника.

Мое пребывание в Филадельфии было очень коротким, но общество, с которым я успел там познакомиться, мне чрезвычайно понравилось. Говоря о его характерных особенностях, я сказал бы, что оно более провинциально, чем в Бостоне или Нью-Йорке, и что воздух в этом прекрасном городе насыщен вкусами и критикой, напоминающими, пожалуй, светские разговоры на те же темы о Шекспире и «Мьюзикал Глассиз», о которых мы читали в «Вэкфильдском священнике»¹. Неподалеку от города находится великолепнейшее незаконченное мраморное здание, предназначенное для Джирард-колледжа, основанного неким ныне покойным джентльменом, носившим это имя, обладателем несметных богатств; если здание будет достроено в соответствии с первоначальным планом, оно, пожалуй, станет богатейшим сооружением современности. Но вокруг наследства ведутся сейчас юридические споры, и, пока они не кончатся, работы не возобновятся; таким образом, и этому начинанию, как и многим другим великим начинаниям в Америке, суждено осуществиться в ближайшем будущем — только не сейчас.

На окраине высится большая тюрьма, именуемая «Восточный исправительный дом». В ней установлен порядок, характерный для штата Пенсильвания. Здесь введено в систему суровое, строгое и гнетущее одиночное заключение. Ввиду его влияния на людей я считаю его жестоким и неправильным.

Я глубоко убежден, что в основе этой системы тюремной дисциплины лежат добрые и гуманные намерения, желание исправлять людей, — но я уверен, что те, кто ее разработал, равно как и те благожелательно настроенные джентльмены, которые проводят ее в жизнь, не ведают, что творят. Мне кажется, лишь очень немногие способны в полной мере представить себе те пытки и мучения, ко-

¹ Роман английского писателя Гольдсмита (1776).

торым подвергаются несчастные, долгие годы несущие это ужасное наказание; я сам лишь могу догадываться об этом, но сопоставляя то, что я прочел на их лицах, и то, о чем — я знаю — они умалчивают, я еще более утвердился в своем мнении: тут речь идет о страданиях, всю глубину которых могут измерить лишь сами страдальцы и на которые ни один человек не вправе обрекать себе подобных. Я считаю это медленное, ежедневное давление на тайники мозга неизмеримо более ужасным, чем любая пытка, которой можно подвергнуть тело; оставляемые им страшные следы и отметины нельзя нащупать, и они так не бросаются в глаза, как рубцы на теле; наносимые им раны не находятся на поверхности, и исторгаемые им крики не слышны человеческому уху, — и я тем более осуждаю этот метод наказания потому, что, будучи тайным, оно не пробуждает в сердцах людей дремлющее чувство человечности, которое заставило бы их вмешаться и положить конец этой жестокости. Я как-то призадумался, спрашивая себя: будь на то моя власть, разрешил ли бы я подобное наказание даже в тех случаях, когда срок заключения крайне короток. Но теперь я торжественно заявляю, что, имея я любые награды или почести, я никогда не мог бы беззаботно расхаживать по земле днем и ложиться спать ночью, сознавая, что какое-то человеческое существо сколько бы то ни было времени должно томиться в безмолвни своей одиночной камеры и что я повинен в этом или хоть в малейшей степени причастен к этому.

Я прибыл в тюрьму в сопровождении двух джентльменов — официальных представителей ее начальства — и провел там целый день, переходя из камеры в камеру и разговаривая с их обитателями. В мое распоряжение было предоставлено все, что только могла подсказать крайняя любезность. От меня ничего не скрывали и не прятали, и все просимые мною сведения были сообщены мне прямо и откровенно. Образцовый порядок, царящий в здании, невозможно переоценить, а в превосходных намерениях всех тех, кто имеет непосредственное отношение к проведению в жизнь этой системы, не приходится сомневаться.

Между зданием тюрьмы и окружающей его стеной разбит большой сад. Сквозь калитку в массивных воротах нас провели по дорожке к центральному корпусу, и мы вошли в большую комнату, из которой лучами расходятся семь длинных коридоров. По обе стороны каждого из них

тянутся длинные, длинные ряды низеньких дверок, ведущих в камеры, и на каждой стоит определенный номер. Над ними — галерея таких же камер, но только, в отличие от камер нижнего этажа, перед этими нет узенького дворика и сами они несколько меньше. Предполагается, что обладание двумя камерами вознаграждает заключенных верхнего этажа за отсутствие той скудной порции воздуха и движения, которую в течение часа ежедневно получают заключенные нижнего этажа на унылых полосках двора, примыкающих к каждой из камер, — поэтому наверху в распоряжение каждого заключенного предоставляются две смежные и сообщающиеся между собой камеры.*

Когда стоишь посредине и смотришь вдоль этих мрачных коридоров, царящие в них унылый покой и тишина приводят в ужас. Порою слышится монотонное жужжание челнока какого-нибудь одинокого ткача или удары по колодке одинокого сапожника, но толстые стены и тяжелые двери приглушают все звуки, и потому полнейшая тишина кругом кажется от этого еще более глубокой. На голову и лицо каждого заключенного, как только он вступает в этот дом скорби, набрасывают черный капюшон и под этим темным покровом, символом завесы, опустившейся между ним и живым миром, его ведут в камеру, откуда он ни разу не выйдет до тех пор, пока полностью не истечет срок его заключения. Он ничего не знает о жене и детях, о доме и друзьях, о жизни или смерти какого-либо живого существа. К нему заходят лишь тюремщики, — кроме них, он никогда не видит человеческого лица и не слышит человеческого голоса. Он погребен заживо; его извлекут из могилы после того, как годы медленно свершат свой круг, а до тех пор он мертв для всего, кроме мучительных тревог и жуткого отчаяния.

Его имя, совершенное им преступление, срок страданий, к которому он приговорен, — неизвестны даже тюремщику, что приносит ему каждый день пищу. На двери его камеры имеется номер, и такой же номер стоит в книге, один экземпляр которой хранится у начальника тюрьмы, а другой у духовного наставника, — это ключ к его истории. Помимо этих страниц, в тюрьме не ведется никаких записей о его существовании, и, проживи он в одной и той же камере хоть десять томительных лет, ему так и не придется узнать, вплоть до самого последнего часа, в ка-

кой части здания он находится, какие люди окружают его, и в долгие зимние ночи напрасно он будет томиться догадками, есть ли поблизости живые люди, или же он заперт в каком-нибудь заброшенном уголке большой тюрьмы, и от ближайшего собрата по мукам одиночества его отделяют стены, переходы и железные двери.

У каждой камеры двойные двери: внешняя — из крепкого дуба и еще другая — железная решетка, в которой имеется окошко — через него заключенному подают пищу. У него есть библия, грифельная доска и карандаш; при соблюдении определенных условий ему дают и другие специально подобранные книги, а также перо, чернила и бумагу. Его бритва, тарелка, кружка и тазик висят на стене или поблескивают на маленькой полочке. Во все камеры проведена вода, и заключенный может брать ее сколько угодно. Днем его койка откидывается к стене, и таким образом в камере становится больше места для работы. Тут стоит его ткацкий станок, или верстак, или прялка, и тут он работает, спит, и пробуждается, и отмечает смену времен года, и стареет.

Первый узник, которого я увидел, сидел у своего ткацкого станка и работал. Он пробыл здесь шесть лет и должен был пробыть, кажется, еще три года. Он был осужден за хранение краденого, но даже после столь длительного заключения отрицал свою вину, утверждая, что с ним обошлись несправедливо. Это была его вторая судимость.

Он прервал свою работу, когда мы вошли, и снял очки; на все наши вопросы он отвечал свободно, но каждому ответу неизменно предшествовала какая-то странная пауза, и говорил он задумчиво, тихим голосом. На голове его была бумажная шляпа собственного изделия, и ему было приятно, что ее заметили и сказали о ней несколько слов.

Чрезвычайно хитроумно, из какой-то совершенной чепухи он изготовил ходики, — бутылка из-под уксуса служила вместо маятника. Увидев, что я заинтересовался этим изобретением, он посмотрел на него с немалой гордостью и сказал, что собирается усовершенствовать его: он надеется, что при помощи осколка стекла и подвешенного к нему молотка ему удастся «заставить их скоро заиграть». Он сумел добыть краску из пряжи, над которой работал, и нарисовал несколько жалких фигурок на стене. Одну из них — фигуру женщины, нарисованную над дверью, — он назвал «Дама с озера».

Он улыбался, пока я смотрел на эти затеи, при помощи которых он старался скоротать время, но, взглянув затем на него, я увидел, что губы его дрожат, и можно было сосчитать удары его сердца. Не помню как, но в разговоре было упомянуто, что у него есть жена. При этом слове он покачал головой и отвернулся, закрыв лицо руками.

— Но теперь вы примирились с этим? — спросил один из джентльменов после краткой паузы, за время которой заключенный сумел притти в себя.

— Да, да, конечно! Теперь я примирился с этим, — ответил он со вздохом, в котором прозвучала полная безнадежность.

— И, думаете, что исправились?

— Да, надеюсь, что так... Да, да, конечно, я надеюсь на это.

— И время идет довольно быстро?

— Время, господа, очень тянется в этих четырех стенах.

Говоря это, он обвел камеру взглядом — боже, с какой тоской! — и потом вдруг уставился в одну точку, словно пытаясь что-то вспомнить. Мгновение спустя он тяжело вздохнул, надел очки и снова принялся за работу.

В другой камере сидел немец, приговоренный за воровство к пяти годам заключения, из которых два уже минули. При помощи красок, добытых указанным выше способом, он очень красиво разрисовал каждый дюйм стен и потолка. С удивительной тщательностью он обработал свой клочок земли перед камерой, а посередине сделал грядку, которая, кстати говоря, была похожа на могилу. Во всем он проявлял совершенно необычайный вкус и изобретательность, и тем не менее трудно было бы представить себе более жалкое, подавленное, убитое горем существо. Никогда в жизни не видел я подобной картины горестного отчаяния и упадка духа. Глядя на него, сердце мое обливалось кровью; когда же по щекам его покатались слезы и, отведя в сторону одного из своих посетителей и уцепившись за него дрожащими руками, он спросил, ужели нет надежды на смягчение мрачного приговора, — я почувствовал, что не в состоянии вынести это зрелище. Никогда я не видел и не слышал о какой-либо беде, которая потрясла бы меня больше, чем несчастье этого человека.

В третьей камере находился высокий сильный негр-грабитель, занятый привычной для него работой: он делал винты и тому подобные вещи. Срок его заключения почти истек. Он был не только очень ловким вором, но славился к тому же храбростью и отвагой, а также количеством прежних судимостей. Он развлекал нас длинным перечнем своих подвигов, повествуя о них с бесконечным увлечением: казалось, он и впрямь облизывается, рассказывая нам красочные анекдоты об украденной посуде, о старушках, за которыми он наблюдал, когда они сидели у окна в своих серебряных очках (он заприметил, из какого металла они сделаны, даже стоя на другой стороне улицы), и которых он впоследствии обокрал. Этот парень при малейшем поощрении примешал бы к своим профессиональным воспоминаниям гнуснейшее ханжество, но едва ли он способен был проявить больше лицемерия, чем в тот момент, когда заявил, что благословляет день своего заключения и что за всю свою жизнь никогда больше не совершит ни единой кражи.

Был тут человек, которому в качестве особой льготы разрешили держать кроликов. Поскольку от этого в его камере был довольно спертый воздух, его подозвали к двери и велели выйти в коридор. Он, конечно, подчинился и теперь стоял, заслоняя рукой глаза, отвыкшие от солнечного света, который падал через большое окно, — он казался страшно изнуренным и каким-то не от мира сего, словно выходец из могилы. На груди у него сидел белый кролик; и когда маленький зверек, соскользнув на пол, убежал обратно в камеру, а вслед за ним, получив на то разрешение, робко ползлелся и его хозяин, я подумал, что трудно сказать, в каком отношении человек — более благородное из этих двух животных.

Был тут английский вор, отсидевший всего несколько дней из общего срока в семь лет; это был отвратительный, низколобий, тонкогубый субъект с бледным лицом; он еще не научился радоваться посетителям, и если бы не опасность дополнительной кары, с удовольствием зарезал бы меня своим сапожным ножом. Был тут еще один немец, попавший в тюрьму лишь накануне, — при нашем появлении он вскочил с постели и на ломаном английском языке стал умолять, чтобы ему дали работу. Был тут и поэт, который, выполнив за день два дневных урока — один для себя, а другой для тюрьмы, — писал стихи о кораблях

(он был моряк по профессии), о «пьянящем кубке» и о своих друзьях на воле. Заключенных было очень много. Одни краснели при виде посетителей, другие сильно бледнели. У тяжело больных — их было двое или трое — дежурили сиделки из заключенных, а за одним толстым старым негром, которому в тюрьме ампутировали ногу, ходил ученый-филолог и превосходный хирург — тоже заключенный. На лестнице сидел хорошенький цветной мальчик, занятый какой-то легкой работой.

— Разве в Филадельфии нет приюта для малолетних преступников? — спросил я.

— Есть, но только для белых детей.

Аристократическое чванство даже в отношении к преступникам!

Был тут один моряк, который отсидел одиннадцать с лишним лет и через несколько месяцев должен был выйти на свободу. Одиннадцать лет одиночного заключения!

— Крайне рад слышать, что ваш срок подходит к концу.

Что говорит он на это? Ничего. Почему он уставился на свои руки, и теревит пальцы, и то и дело вскидывает взгляд на эти голые стены, которые видели, как поседела его голова? Это у него просто привычка такая.

Неужели он никогда не смотрит людям в лицо и всегда щиплет свои руки, будто хочет содрать кожу с костей? Ему так нравится — вот и все.

Видно, ему также нравится говорить, что он не ждет выхода из тюрьмы; что он не радуется окончанию срока; что он ждал этого момента когда-то, но это было очень давно; что он потерял всякий вкус к чему-либо. Ему нравится быть беспомощным существом, которое сломлено и раздавлено жизнью. Ну что ж, видит бог, он имеет тут полную возможность делать то, что ему нравится!

В соседних камерах сидели три молодые женщины, — все три были осуждены за сообщничество в краже. Жизнь в тиши и одиночестве облагородила их лица. Они казались очень грустными, и вид их мог бы тронуть до слез даже самого сурового посетителя, но он не вызывал того чувства скорби, которое пробуждалось при виде заключенных-мужчин. Одна из них была молодая девушка, — помнится, не старше двадцати лет; белоснежные стены ее камеры были украшены работами ее предшественника по заключению; ее печальное лицо заливали сияющие лучи солнца,

попадавшие сюда сквозь узенькое окошко под потолком, в которое виднелась полоска яркосинего неба. Эта девушка казалась вполне раскаявшейся и спокойной; она сказала, что покорилась своей участи (и я верю ей) и что душа ее пребывает в мире.

— Короче говоря, вы счастливы здесь? — спросил один из моих спутников.

Она сделала над собой усилие, отчаянное усилие, чтобы ответить «да», но, подняв глаза и увидев этот кусочек воли за окном, вдруг разрыдалась и, всхлипывая, сказала, бедняжка, что она старается быть счастливой, что она не жалуется, но, понятно, иногда ей очень хочется выйти из этой камеры, — «тут уж ничего не поделаешь».

Весь день я переходил из камеры в камеру, и каждое виденное мною лицо, каждое слышанное мною слово или замеченное обстоятельство и поныне мучительно свежи в моей памяти. Но оставим это и бросим взгляд на другую тюрьму, устроенную по тому же принципу, но производящую несколько более приятное впечатление, — она похожа на ту, что я видел впоследствии в Питсбурге.

После того как я обошел ее примерно таким же образом, я спросил начальника, нет ли среди его заключенных такого, кто должен скоро выйти на свободу. Он сказал, что есть один, чей срок истекает на следующий день, но что этот человек провел в тюрьме всего два года.

Два года! Я мысленно оглянулся на прожитые два года моей собственной жизни — жизни на свободе, счастливой, радостной, полной благополучия, комфорта и удачи, — и подумал, какой это в сущности большой срок и какими же долгими должны быть два года, проведенные в одиночном заключении. Перед моими глазами до сих пор стоит лицо этого человека, которого должны были выпустить на следующий день. Его счастливое выражение едва не более памятно мне, чем страдальческое выражение остальных лиц. Как легко и естественно он сказал, что одиночная система хороша, и время прошло «довольно быстро, учитывая...», и после того как человек понял, что преступил закон и должен поплатиться, «он кое-как примиряется с этим», и так далее.

— Для чего он вас отозвал и о чем так горячо и взволнованно говорил с вами? — спросил я своего провожатого, когда он, заперев дверь, нагнал меня в коридоре.

— Он боится, что не сможет выйти в своих поношенных башмаках: подметки были уже худые, когда он пришел сюда, и он очень просит, чтобы их починили.

Эти башмаки были сняты с него и убраны вместе с остальной его одеждой два года тому назад.

Я воспользовался случаем, чтобы спросить, как ведут себя заключенные непосредственно перед выходом из тюрьмы, причем высказал предположение, что многих, вероятно, лихорадит.

— Нет, это не столько лихорадка, — хотя бывает, что их бьет дрожь, — сколько полное расстройство нервной системы, — последовал ответ. — Они не могут расписаться в книге, иногда не могут даже держать в руке перо, озираются по сторонам, словно не понимая, где и зачем они находятся, а иногда по двадцать раз в минуту встают и снова садятся. Это бывает с ними в канцелярии, куда их приводят в капюшоне, так же, как при поступлении в тюрьму. Выйдя за ворота, они останавливаются и смотрят сперва в одну сторону, потом в другую, не зная, куда идти. Иногда они шатаются, как пьяные, а иногда бывают вынуждены прислониться к забору — так им худо. Но со временем это проходит.

Когда я входил в эти одиночные камеры и смотрел на лица заключенных, я старался вообразить те мысли и чувства, которые должны быть присущи их состоянию. Я представлял себе — вот с заключенного только что сняли капюшон и перед ним предстала его темница во всем своем гнетущем однообразии.

Сначала человек оглушен. Его заключение — это отвратительный призрак, его былая жизнь — действительность. Он бросается на койку и лежит, предавшись отчаянию. Постепенно невыносимая тишина и нагота камеры выводят его из оцепенения, и когда открывается окошко в решетчатой двери, он смиренно просит о работе.

— Дайте мне какую-нибудь работу, или я с ума сойду!

Ему дают работу, и мало-помалу он привыкает к труду; но то и дело его обжигает мысль о долгих годах, которые придется провести в этом каменном гробу, и столь острая боль при воспоминании о тех, кого он не видит и о ком ничего не знает, что он вскакивает с места и мечется из угла в угол по тесной камере, сжимая руками

виски, — ему слышатся голоса, искушающие его разmozжить себе голову о стену.

И снова он падает на койку, и лежит, и стонет. Внезапно он вздрагивает, спрашивая себя, есть ли хоть кто-нибудь поблизости, есть ли другие такие же камеры справа и слева от него; и он настороженно прислушивается.

Ни звука, — но все же где-нибудь поблизости, наверно, есть другие заключенные. Он припоминает, что слышал однажды, — когда еще не помышлял очутиться здесь, — будто камеры построены таким образом, что заключенные не могут слышать друг друга, хотя тюремщики слышат их всех. Где ближайший сосед — справа или слева, или и там и тут есть люди? Сидит ли этот сосед сейчас лицом к свету, или ходит взад и вперед? Как он одет? Давно ли он здесь? Очень ли он измучен? Очень ли бледен и похож на привидение? Думает ли и он тоже о своем соседе?

Едва осмеливаясь дышать и продолжая прислушиваться, он вызывает в своем воображении фигуру, повернувшуюся спиною к нему, и представляет себе, как она двигается в этой соседней с ним камере. Он не знает, какое у этого человека лицо, но ясно видит его темный, согбенный силуэт. В соседнюю камеру с другой стороны он помещает другого узника, чье лицо так же скрыто от него. День за днем, а нередко и пробуждаясь среди ночи, он думает об этих двоих до тех пор, пока чуть не лишается рассудка. Он никогда не меняет их облика. Они всегда одни и те же, какими он их впервые представил себе — старик справа и человек помоложе слева: для него мучительно, что он не видит их лиц, — они окутаны тайной, заставляющей его содрогаться.

Медлительным шагом проходят унылые дни, подобно плакальщикам в погребальной процессии, и постепенно белые стены камеры начинают давить его, ему начинает казаться, что их цвет ужасен, от вида их гладкой поверхности стынет кровь, и вон в том ненавистном углу приоткрылось что-то страшное. Каждое утро, просыпаясь, он прячет голову под одеяло и боится взглянуть на мертвенно бледный потолок, нависший сверху. Даже дневной свет заглядывает, как безобразный призрак, все через одну и ту же дыру его тюремного окошка.

Медленно, но верно ужасы этого ненавистного угла разрастаются и уже мучают его ежечасно: они отравляют его досуг, от них его сны становятся кошмарными и ночи мучительными. Сначала этот угол вызывал в нем странную неприязнь: он чувствовал, будто при взгляде на него в его мозгу зарождается нечто столь же страшное, чего не должно там быть и что разрывает болью его череп. Потом он начал бояться его, потом ему стал сниться этот угол и какие-то люди, которые указывают на него и шопотом называют по имени то, что в нем скрыто. Затем он уже не мог выносить его вида, но, однако, не мог и отвернуться. Теперь, каждую ночь, в этом углу стал появляться призрак — тень: нечто безмолвное, ужасное для взора, — но была ли то птица, или зверь, или закутанная человеческая фигура, этого он не мог бы сказать.

Днем, когда он в камере, ему страшен маленький дворик за стеной. Когда же он во дворе, он боится вернуться в камеру. Когда наступает ночь, — там, в углу, встает призрак. Если бы у заключенного хватило мужества подойти и выгнать его оттуда (он попытался однажды с отчаяния), призрак уселся бы, нахохлившись, на постель страдальца. В сумерках, всегда в один и тот же час, некий голос окликает его по имени; когда же тьма сгущается, оживает его ткацкий станок; даже это — его единственное утешение — становится отвратительным чудищем, которое сторожит его до рассвета.

Но вот ужасные видения одно за другим покидают его, — иногда они вдруг возвращаются, но все реже и уже не в таком пугающем облике. Он беседовал о религии с джентльменом, навещающим его, и читал библию, и написал слова молитвы на грифельной доске, и повесил ее на стене как залог того, что небо защитит и не оставит его. Теперь он иногда думает о своих детях, о жене, но уверен, что они умерли или отреклись от него. Его легко довести до слез; он мягок, покорен, дух его сломлен. По временам прежние терзания начинаются снова, — самая малость может вновь оживить их: знакомый звук или аромат летних цветов в воздухе, но теперь это не длится долго, ибо внешний мир стал видением, а эта одинокая жизнь — горестной действительностью.

Если срок его заключения краток — я хочу сказать, сравнительно краток, ибо коротким он не может быть, — последние полгода едва ли не самые страшные, так как

тогда он начинает думать, что в тюрьме вспыхнет пожар и он сгорит среди развалин; или что ему суждено умереть, в этих стенах; или что его задержат здесь по какому-нибудь ложному обвинению и приговорят к новому сроку; что-то — все равно что — должно случиться и помешать ему выйти на свободу. И это естественно, и против этого не приходится спорить, ибо он так долго был оторван от жизни и так долго и тяжело страдал, что любая случайность покажется ему более вероятной, чем возвращение на свободу, к своим братьям по человечеству.

Если его пребывание в тюрьме было очень длительным, перспектива освобождения страшит и смущает его. Его разбитое сердце может затрепетать на мгновение, когда он подумает о внешнем мире и обо всем, что этот мир мог ему дать за все эти годы одиночества, — но и только. Запертая дверь камеры слишком долго отделяла его от мирских надежд и чаяний. Уж лучше бы его повесили в самом начале, чем довели до такого состояния, а потом вернули в среду ему подобных, которым он более уже не подобен.

На изможденном лице каждого из этих узников застыло одно и то же выражение. Не знаю, с чем сравнить его. В нем есть нечто от того напряженного внимания, какое видишь на лицах слепых или глухих, и вместе с тем — ужас, словно они втайне запуганы чем-то. В каждой тесной камере, куда я входил, и за каждой решеткой, сквозь которую я глядел, я видел, казалось, один и тот же трагический облик. Он живет в моей памяти с яркостью образа, созданного замечательным художником. Пусть пройдет передо мной среди сотни людей лишь один, только что выпущенный из одиночного заключения, — и я укажу вам на него.

Как я уже говорил, лица женщин заключение делает человечнее и утонченнее — потому ли, что женщины лучше по натуре и это проявляется в одиночестве, или потому, что они — создания более мягкие, более терпеливые и многострадальные, — не знаю; но это так. Тем не менее вряд ли нужно добавлять, что на мой взгляд эта кара в отношении их столь же несправедлива и жестока, как и в отношении мужчин.

По моему глубокому убеждению, независимо от вызываемых им нравственных мук, — мук столь острых и безмерных, что никакая фантазия не могла бы здесь сравнить.

ся с действительностью — одиночное заключение настолько болезненно действует на рассудок, что делает его неприспособленным для грубого соприкосновения с внешним миром и его кипучей деятельностью. Я твердо уверен, что те, кто подвергся такого рода испытанию, должны вернуться в общество морально неустойчивыми и больными. Известно много случаев, когда люди по собственной воле или по необходимости проводили свою жизнь в полном одиночестве, но я вряд ли припомню, даже среди мудрецов, обладавших ясным и могучим умом, хотя бы одного, у кого такой образ жизни не вызвал бы беспорядка в мыслях или каких-то мрачных галлюцинаций. Какие только чудовищные призраки, вскормленные унынием и сомнением, порожденные и возвращенные в одиночестве, не бродят по земле, обезображивая мир и омрачая лик небес!

Самоубийства среди заключенных здесь редки, — в сущности, почти неизвестны. Но из этого отнюдь нельзя сделать логический вывод в пользу самой системы, хотя на этом часто настаивают. Все, кто посвятил себя изучению душевных болезней, прекрасно знают, что человек может впасть в такую предельную подавленность и отчаяние, которые изменяют весь его характер и убьют в нем всякую душевную гибкость и способность сопротивляться, — и все же он остановится на грани самоуничтожения. Это обычная история.

Я совершенно уверен, что одиночное заключение приглушает чувства и постепенно умерщвляет все телесные силы. Я обратил внимание тех, кто вместе со мною был в филадельфийской тюрьме, что преступники, пробывшие здесь долгое время, стали глухими. Поскольку они привыкли изо дня в день видеть этих заключенных, их просто поразила моя мысль, показавшаяся им необоснованной и неправдоподобной. И, однако, первый же заключенный, к которому они обратились по своему собственному выбору, немедленно подтвердил мое впечатление (хотя и не знал о нем); с искренностью, не вызывающей никаких сомнений, он заявил, что сам не знает, почему бы это, но он вправду становится туг на ухо.

Нет никакого сомнения в том, что это — исключительно несправедливое наказание, которое наименее тяжело отражается на закоренелых преступниках. Я нисколько не верю, что как исправительная мера оно более

эффективно, чем тот распорядок, при котором заключенным разрешается работать вместе, но не общаясь друг с другом. Все случаи исправления, о которых мне говорили, точно так же могли быть — и я не сомневаюсь, что и были бы, — результатом «безмолвной системы». Что же касается такого рода людей как грабитель-негр и вор-англичанин, то даже заядлые энтузиасты едва ли могут питать какую-либо надежду на их возвращение на путь истинный.

Мне кажется, достаточно веским аргументом против системы одиночного заключения является то, что такое противоестественное одиночество никогда не порождало ничего здорового или хорошего и что в таких условиях даже собака или любое другое разумное животное пришло бы в уныние, зачахло и отупело. Но подумав о том, как жестока и сурова эта система и как жизнь в одиночестве всегда порождает вполне определенные последствия самого пагубного свойства, против которых мы здесь возражали; и припомнив вдобавок, что в качестве альтернативы предлагается не какая-либо скверная или непродуманная система, а система вполне себя оправдавшая и по своему замыслу и практическому осуществлению превосходная, — мы, конечно, найдем более чем достаточно причин для того, чтобы отвергнуть этот вид наказания, сулящего так мало хорошего, и бесспорно, чреватого таким изобилием дурного.

Для некоторого развлечения читателей я закончу эту главу курьезной историей, связанной с рассматриваемым вопросом, — мне рассказали ее, во время моего посещения тюрьмы, лица, бывшие непосредственными ее участниками.

На одно из очередных заседаний инспекторов этой тюрьмы пришел рабочий из Филадельфии и стал горячо просить, чтобы его посадили в одиночную камеру. Когда его спросили, какая причина могла побудить его обратиться со столь странной просьбой, он ответил, что его неодолимо тянет к выпивке, — к своему великому несчастью, он всегда уступает этому влечению; у него не хватает сил сопротивляться; ему хотелось бы стать недостижимым для искушения, и он не мог придумать ничего лучшего. В ответ ему было указано, что тюрьма существует для преступников, которых привлекли к суду и приговорили в соответствии с законом, и что она не пред-

назначена для столь причудливых целей; его увещевали воздерживаться от спиртных напитков, что он несомненно мог бы сделать, если бы захотел; кроме того, он получил и другие отличные советы, после чего ушел, весьма довольный результатом своей попытки.

Он приходил все снова и снова и был до того упорен и назойлив, что в конце концов, посоветовавшись, они решили: «Если мы еще раз ему откажем, он несомненно совершит какое-нибудь преступление, чтобы добиться своего. Давайте засадим его. Он очень скоро захочет выбраться отсюда, и тогда мы от него избавимся». Итак, его заставили подписать бумагу, в которой говорилось, что он находится в тюрьме добровольно, по собственному желанию — дабы он не мог когда-либо возбудить дело о незаконном заключении; его предупредили, что дежурному тюремщику будет приказано выпустить его в любой час дня или ночи, когда он постучит для этой цели в дверь камеры, но попросили запомнить, что если он выйдет отсюда, его больше не впустят обратно. Когда все эти условия были оговорены и он все же остался при своем желании, его отвели в тюрьму и заперли в одной из камер.

Человек, у которого нехватало твердости духа оставить нетронутым стоящий перед ним на столе стакан вина, — этот человек пробыл в камере в одиночном заключении почти два года, занимаясь изо дня в день своим сапожным ремеслом. Поскольку к концу этого срока здоровье его начало сдавать, врач рекомендовал ему работать по временам в саду, — это предложение ему весьма понравилось, и он с большой охотой предался новому занятию.

В один летний день, когда он очень усердно копал землю в саду, калитка в ограде случайно оказалась незапертой: за нею виднелись памятная ему пыльная дорога и сожженные солнцем поля. Путь для него был открыт, как для любого свободного человека, но едва только он поднял голову и увидел эту залитую светом дорогу, как, подчиняясь безотчетному инстинкту узника, отшвырнул лопату и помчался прочь с такой быстротой, с какою только могли нести его ноги, и не разу не обернулся.

**ВАШИНГТОН.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.
ДОМ ПРЕЗИДЕНТА**

Мы выехали на пароходе из Филадельфии очень холодным утром, в шесть часов, и обратили свои взоры к Вашингтону.

В течение этого путешествия, а также в последующих поездках, мы встречали англичан (на родине они были, возможно, мелкими фермерами или сельскими трактирщиками), поселившихся в Америке и разъезжавших теперь по своим надобностям. Из всех категорий и типов людей, сталкивающихся с вами в дилижансах, поездах и на пароходах Соединенных Штатов, эти люди обычно — самые нестерпимые, невыносимые спутники. В дополнение ко всем неприятным чертам, свойственным наихудшему типу путешествующего американца, эти наши соотечественники проявляют просто чудовищно наглое самомнение и уверенность в собственном превосходстве. По грубой фамильярности обращения, по бесцеремонному любопытству (они торопятся проявить его словно в отместку за традиционную сдержанность, которую им приходилось соблюдать на родине) они превосходят любой туземный экземпляр, попадавший в сферу моих наблюдений; и нередко, видя и слыша их, я ощущал такой прилив патриотических чувств, что с радостью уплатил бы умеренную мзду, если бы мог предоставить какой-нибудь другой стране честь назвать их своими сынами.

Поскольку Вашингтон может быть назван центром табачного слюноизвержения, пора мне признаться, что распространенность этих двух отвратительных привычек — жевать и плевать — стала казаться мне к этому времени

явлением далеко не из приятных и, попросту говоря, производить на меня отталкивающее и тошнотворное впечатление. Этот мерзкий обычай принят во всех общественных местах Америки. В зале заседаний суда судья имеет свою плевательницу, секретарь — свою, свидетель — свою и подсудимый — также свою; и присяжные заседатели и публика обеспечены ими в количестве, потребном для людей, самой своей природой побуждаемых безостановочно плевать. В больницах надписи на стенах призывают студентов-медиков извергать табачный сок в специально предназначенные для этой цели ящики и не делать пятен на лестницах. В общественных зданиях тем же способом обращаются к посетителям с просьбой сплевывать свою жвачку или «кляп», как назвал ее один джентльмен — знаток такого рода лакомств, — не на подножия мраморных колонн, а в казенные плевательницы. Кое-где этот обычай неотъемлемо связан с каждым завтраком, обедом или ужином, с каждым утренним визитом и со всеми проявлениями общественной жизни. Чужестранец, который последует избранному мною пути, обнаружит этот обычай в полном расцвете и блеске, во всей его пышности и устрашающей бесцеремонности, в Вашингтоне. И пусть он себя не уверяет (как я это сделал однажды, к своему стыду), что туристы, побывавшие здесь ранее, преувеличивали, рассказывая об этом обычае. Он сам по себе такое преувеличенное свинство, что тут ничего не прибавишь.

На борту нашего парохода находились два молодых джентльмена в рубашках с расстегнутыми по обыкновению воротничками, вооруженные, каждый, огромной тростью. Они утвердили посредине палубы два стула на расстоянии примерно четырех шагов один от другого, достали пачки табаку и уселись друг против друга — жевать. Менее чем за четверть часа эти многообещающие юноши смочили чистую палубу вокруг дождем коричневатой жидкости, очертив таким способом нечто вроде магического круга, в пределы которого никто не смел ступить и который они усердно освежали вновь и вновь, не давая ему нигде подсохнуть. Дело было перед завтраком, и, сознаюсь, меня затошнило. Однако, поглядев внимательно на одного из плевак, я ясно увидел, что он новичок в искусстве жевания и сам чувствует себя нехорошо. Это открытие привело меня в восторг; и когда я заметил, как его лицо все более бледнеет от скрытой муки и как подрагивает табач-

ный шар за его левой щекой, в то время как он, стараясь не отставать от своего старшего товарища, все сплевывает и жует и снова сплевывает, я готов был броситься ему на шею и умолять его продолжать и дальше в том же духе.

К завтраку все мы собрались за столом внизу в каюте; при этом наблюдалось не больше суеты и неразберихи, чем бывает в таких случаях в Англии, и, несомненно, было проявлено больше вежливости, чем на многих наших пиршествах, устраиваемых на почтовой станции спутниками по дилижансу. Часов в девять пароход подошел к пристани по соседству с вокзалом, и мы продолжали свой путь поездом. В полдень мы снова покинули вагон для того, чтобы переправиться на другом пароходе через широкую реку; высадились у продолжения железной дороги на противоположном берегу и отправились дальше снова поездом. В течение последующего часа наш поезд пересек, по мостам длиною в милю каждый, две речонки, называемые соответственно Большой и Малый Порох. В обеих вода чернела от сидевших на ней стай диких уток; мясо их очень приятно на вкус, и они встречаются здесь во множестве в это время года.

Мосты эти построены из дерева, не имеют перил и по ширине едва достаточны для того, чтобы по ним мог пройти поезд, который при малейшей случайности должен неминуемо полететь в воду. Это удивительные сооружения, и они особенно приятны, когда остаются позади.

Пообедать остановились в Балтиморе, и так как мы находились теперь в штате Мэриленд, нам впервые прислуживали невольники. Незавидное чувство испытываешь, пользуясь услугами человеческих существ, которые могут быть куплены и проданы, ибо тем самым как бы разделяешь на время ответственность за их положение. В таком городе, как Балтимора, эта система существует, возможно, в наименее отталкивающем и наиболее смягченном виде. Но тем не менее это — рабство. И хотя я не был повинен в его существовании, оно вызывало во мне стыд и угрызения совести.

После обеда мы снова отправились на железную дорогу и заняли места в вагоне вашингтонского поезда. Мы явились рано, и ничем не занятые мужчины и мальчишки, любопытствуя взглянуть на иностранцев, собрались (по обычаю) вокруг нашего вагона, спустили все окна,

просунули внутрь головы и плечи, удобно повисли на локтях и принялись обмениваться замечаниями по поводу моей внешности с такой бесцеремонностью, словно я не человек, а чучело. Никогда еще я не получал такого обилия неоспоримых сведений о собственном носе и глазах, о разнообразных впечатлениях, производимых моими ртом и подбородком на разных людей, и о том, на что похожа моя голова, рассматриваемая сзади, как это было в данном случае. Некоторые джентльмены удовлетворяли свое любопытство, лишь прибегнув к помощи осязания; мальчишки же (поразительно рано развивающиеся в Америке) редко удовлетворялись даже этим и снова и снова возобновляли свои атаки. Не раз какой-нибудь будущий президент входил в мою комнату, не снимая шапки и засунув руки в карманы, и глазел на меня битых два часа кряду, время от времени звучно сморкаясь для подкрепления духа или освежая горло глотком воды из стоящего в комнате кувшина, или подходил к окну и приглашал других мальчишек, стоящих внизу, на улице, подняться и последовать его примеру, выкрикивая: «Вот он!», «Давай сюда!», «Тащи всех ребят!» и прочие радушные приглашения в том же духе.

Мы достигли Вашингтона вечером того же дня, в половине шестого, насладившись по дороге чудесным видом Капитолия, прекрасного здания в коринфском стиле, расположенного на холме, господствующем над окрестностями. Остановились в гостинице. В тот вечер очень устав с дороги, я не стал осматривать город и рад был улечься в постель.

На следующее утро, после завтрака, я часа два бродил по городу, а возвратившись, отворил окна своей комнаты, выходящие на улицу и во двор, и выглянул наружу. Вот он, Вашингтон, каким я его только что видел и вновь вижу сейчас.

Возьмите худшие части Сити-Род и Пентонвилля или беспорядочно разбросанные предместья Парижа, где тесятся самые маленькие домишки, сохраните все их своеобразие и в особенности лавчонки и жилища, занятые в Пентонвилле (но не в Вашингтоне) скупщиками старой мебели, содержателями дешевых трактиров и любителями птиц; сожгите все это; постройте все снова из дерева, оштукатурьте, немного расширьте, подбросьте кусок Сент-Джонского леса, у окон всех жилых домов укре-

пите зеленые ставни, а в каждом окне повесьте красные гардины и белую занавеску, вспашите проезжую часть всех улиц, засейте травой все самые неподходящие для этого места; где угодно, — но чем неудобнее для всех и каждого, тем лучше, — возведите три красивых здания из камня и мрамора, назовыте одно из них Почтамтом, другое Патентным управлением и третье Казначейством, добавьте строительные площадки, только без кирпича, всюду, где естественно должны бы пролегать улицы, утром нестерпимую жару и вечером невыносимый холод, и еще налетающие время от времени порывы ветра и тучи пыли, — и это будет Вашингтон.

Отель, в котором мы живем, представляет собою длинный ряд домиков, выходящих фасадом на улицу; позади них находится общий двор, где висит большой железный треугольник. Всякий раз, как кому-либо нужен слуга, его вызывают, ударяя по этому треугольнику от одного до семи раз, в зависимости от номера того дома, где требуется его присутствие, и так как все слуги постоянно нужны и ни один из них никогда не является, это веселое приспособление целый день не перестает действовать. Тут же во дворе сушится белье, взад и вперед, выполняя всякие поручения, носятся невольницы в бумажных платках, повязанных вокруг головы; двор пересекают во всех направлениях черные лакеи с блюдами в руках; две большие собаки играют на гряде кирпича посреди небольшой площадки; поросенок греет брюхо на солнышке и хрюкает: «Как уютно!»; и ни мужчины, ни женщины, ни собаки, ни поросенок, ни одно живое существо не обращает ни малейшего внимания на треугольник, который не перестает бешено звонить.

Я подхожу к окну, выходящему на улицу, и смотрю через дорогу на длинную беспорядочную вереницу одноэтажных домов, заканчивающуюся почти напротив, чуть левее, унылым пустырем, поросшим грязной травой и похожим на маленький клочок поля, который запьянствовал и потерял свой облик. На этом открытом пространстве высится нечто перекошенное и нелепое, словно метеорит, свалившийся с луны, — какое-то странное кривобокое, одноглазое деревянное строение, нечто вроде церкви с флагштоком величиною с нее самое, торчащим над колокольной немногим больше ящика с чаем. Под окном — небольшая стоянка экипажей; возницы-неволь-

ники греются на солнышке у крыльца нашего дома и от нечего делать болтают. Три самых заметных дома поблизости — самые убогие. На одном — лавчонка, в которой не видно никакого товара и дверь которой никогда не открывается, — намалевано большими буквами: «Городская закусочная». В другом, который выглядит как пристройка к чему-то, а на самом деле является самостоятельным строением, можно получить «Устрицы во всех видах». В третьем — совсем крошечной портняжной мастерской — «изготавливают штаны по мерке», иначе говоря, шьют панталоны на заказ. Это и есть наша улица в Вашингтоне.

Его называют иногда Городом Грандиозных Расстояний, но гораздо резоннее было бы назвать его Городом Грандиозных Намерений, так как, лишь взобравшись на Капитолий и взглянув на город с высоты птичьего полета, можно вообще уразуметь обширные замыслы того, кто его планировал, — честолюбивого француза. Просторные авеню, начинающиеся неизвестно где и неизвестно куда ведущие; улицы в милю длиной, которым недостает только домов, мостовых и жителей; общественные здания, которым для полноты картины нехватает лишь проспектов, где они могли бы красоваться, — таковы характерные черты этого города. Впечатление такое, будто сезон окончился и большинство домов навсегда выехало за город вместе со своими хозяевами. Для почитателей больших городов это — великолепный мираж, широкий простор, где может вволю разыгаться фантазия, памятник, воздвигнутый похороненному проекту, — на нем нельзя даже прочесть надпись, возвещающую о его былом величии.

Таким, как сейчас, он, видимо, и останется. С самого начала он был избран резиденцией правительства: это было способом избежать соперничества и столкновения интересов различных штатов; возможно также, это было задумано и для того, чтобы правительство было подальше от толпы, — соображение, которым нельзя пренебрегать даже в Америке. Здесь нет собственной промышленности или торговли: мало или почти вовсе нет населения, — только президент и его приближенные, представители законодательной власти, пребывающие тут во время сессий, правительственные чиновники и служащие различных департаментов, содержатели гостиниц и пансионов и торговцы, поставляющие им провизию.

Климат здесь очень нездоровый. Насколько я понимаю, немногие стали бы жить в Вашингтоне, не будучи вынуждены к этому, и даже потоки эмигрантов и спекулянтов — эти быстрые и неразборчивые воды — вряд ли когда-либо потекут в такое скучное стоячее болото.

Главное в Капитолии — это, несомненно, помещения обеих палат. Но помимо них в центре здания имеется прекрасная ротонда в 96 футов диаметром и 96 высотой, — ее круглые стены разделены на ячейки, украшенные историческими картинами. Для четырех из них сюжетами служат крупные события из истории революционной борьбы. Они были написаны полковником Трамбалом, который сам принадлежал к штабу Вашингтона в момент, когда происходили эти события, благодаря чему картины приобрели особый интерес. Недавно в этот же зал была поставлена огромная статуя Вашингтона работы мистера Гринафа. Она, несомненно, обладает большими достоинствами, но меня поразили в ней чрезмерная напряженность и резкость линий. Мне хотелось бы, однако, посмотреть на нее при более благоприятном освещении, чем то, которое возможно в этом месте.

В Капитолии имеется очень приятная и удобная библиотека; с балкона этого здания можно видеть Вашингтон с птичьего полета, — о чем я только что говорил, — вместе с великолепной перспективой его окрестностей. В одном из помещений Капитолия стоит статуя правосудия, по поводу которой в путеводителе говорится: «Скульптор первоначально предполагал сделать ее более обнаженной, но его предупредили, что общественное чувство приличий не потерпит этого, и из осторожности он впал, пожалуй, в противоположную крайность». Бедная Фемид! Ее рядили в Америке даже в более странные одежды, нежели те, в которые она втиснута в Капитолии. Будем надеяться, что она сменила портниху с тех пор, как они были скроены, и что на сей раз не «общественное чувство приличий» кроило то платье, которое скрывает ее стройный стан в наши дни.

Палата представителей помещается в красивом просторном зале полукруглой формы; потолок его поддерживают чудесные колонны. Часть галереи отведена для дам, и там они сидят в первых рядах, и входят и выходят, словно на спектакле или в концерте. Кресло председателя стоит под балдахином и значительно возвышается над

уровнем зала; у каждого из членов палаты имеется кресло и собственный письменный стол, — некоторые из непосвященных порицают это как весьма неудачный и предосудительный порядок, располагающий к долгим заседаниям и скучным речам. Это изящная на вид комната, но удивительно неудобная в отношении акустики. Зал сената меньше, он свободен от этого недостатка и на редкость хорошо приспособлен для тех целей, для которых его предназначали. Вряд ли нужно добавлять, что заседания происходят днем; все парламентские процедуры скопированы с тех, которые существуют в Старой Англии.

Во время моих разъездов по городам Америки меня иногда спрашивали, не поразили ли меня головы законодателей в Вашингтоне, причем подразумевались не руководители или лидеры, а буквально их собственные, индивидуальные головы, на которых растут их вслосы и в которых френологически выражен характер каждого законодателя; и не раз вопрошавший лишался дара слова от возмущения, услышав мой ответ: «Нет, вовсе не помню, чтобы это меня потрясло». Поскольку, что бы там ни было, я должен повторить здесь это признание, я подкреплю его по возможности немногословным рассказом о своих впечатлениях по этому поводу.

Прежде всего, — быть может в силу некоторого несовершенства моего органа преклонения, — что-то не припомню, чтобы я когда-либо падал в обморок или умилялся до слез радости и гордости при виде какого бы то ни было законодательного собрания. Я перенес палату общин, как подобает мужчине, и не поддался никакой слабости, кроме глубокого сна, в палате лордов. Я присутствовал при городских и при окружных выборах и никогда (какая бы партия ни победила) не испытывал желания испортить шляпу, подбросив ее в порыве восторга в воздух, или сорвать голос, выкрикивая хвалы нашей славной конституции, благородной непогрешимости наших независимых избирателей или нерушимому единству наших независимых членов парламента. Поскольку я выдержал эти мощные атаки на твердость моего духа, можно предположить, что я по натуре холоден и бесчувственен, а в подобных случаях превращаюсь в ледяную статую, и потому мои впечатления от живых столпов вашингтонского Капитолия надлежит воспринимать с теми оговорками, которых как будто требует это добровольное признание.

Увидел ли я в этом общественном органе собрание людей, объединившихся во имя Вольности и Свободы, чтобы при обсуждении любого вопроса не осквернять целомудренного достоинства этих двух богинь-близнецов, тем самым возвышая в восхищенных глазах всего света Вечные Принципы, носящие их имена, а равно и себя и своих соотечественников?

Всего лишь неделю тому назад почтенный, убеленный сединами человек, слава и гордость породившей его страны, который, подобно своим предкам, честно служил своей родине и которого будут помнить через десятки и десятки лет после того, как черви, что заведутся в его разложившемся теле, обратятся в прах, — всего лишь неделю тому назад этот старец держал ответ перед этим самым органом, судившим его за то, что он осмелился заклеить позором отвратительную торговлю, где товаром являются мужчины, женщины и их еще не рожденные дети. Да. А тем временем в том же городе, в золотой раме и под стеклом выставлена для всеобщего обозрения и восхищения Совместная Декларация Тринадцати Соединенных Штатов Америки¹, где торжественно провозглашается, что все люди созданы равными и создатель наделил их неотъемлемым правом на жизнь, свободу и поиски счастья, — ее показывают иностранцам не со стыдом, а с гордостью, ее не обернули лицом к стене, не сняли с гвоздя и не сожгли!

Не больше месяца тому назад члены этого же органа спокойно сидели и слушали, как один из их собственной среды угрожал перерезать другому глотку, изрыгая при этом такие ругательства, которых не произнес бы даже пьяный бродяга. Вот он сидит среди них, — не раздавленный презрением всего собрания, а такой же уважаемый человек, как и любой из них.

Пройдет всего лишь неделя, и еще один из членов этого органа будет судим остальными, обвинен и предан суровому наказанию за то, что он выполнял свой долг перед теми, кто послал его сюда; за то, что в республике потребовал свободы выразить их чувства и довести до всеобщего сведения их мольбы. Его преступление было действительно тяжкое: ведь несколько лет тому назад он

¹ Декларация независимости (1776), провозгласившая отделение 13 колоний от Англии и образование независимых штатов.

поднялся и заявил: «Толпа невольников — мужчин и женщин — отправляется на продажу; они уподоблены скоту, связаны друг с другом железными цепями; сейчас они проходят под открытым небом по улице, под окнами вашего Храма Равенства! Смотрите!» Но люди по-разному понимают счастье, и они по-разному вооружены. Некоторые обладают неотъемлемым правом действовать соответственно собственному понятию о счастье, вооружиться плетью и кнутом, колодками и железным ошейником и (всегда во имя Свободы) с гиком и свистом умножать кровавые полосы на теле раба, под музыку позвякивающих цепей.

Где же они, эти многочисленные законодатели, с их грубыми угрозами, бранью и драками во вкусе подгулявших угольщиков? Всюду, куда ни взглянешь. Каждая сессия бывает отмечена анекдотами такого рода, и все актеры на местах.

Признал ли я в этом собрании орган, который, взяв на себя в новом мире задачу исправлять пороки и обманы старого, расчищает пути к Общественной Жизни, мостит грязные дороги, ведущие к Поста́м и Вла́сти, обсуждает и создает законы для Всеобщего Блага и не знает никакой партии, кроме Родины?

Я увидел в них колесики, двигающие самое искаженное подобие мало-мальски исправленной политической машины, какое когда-либо изготовляли наихудшие инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисный подкуп государственных чиновников; трусливые нападки на противников, когда щитами служат грязные газетки, а кинжалами — наемные перья; постыдное пресмыкательство перед корыстными плутами, которые стремятся ежедневно и ежечасно сеять при помощи своих продажных слуг новые семена зла, подобные драконовым зубам древности¹ во всем, кроме остроты; поощрение и подстрекательство к развитию всякой дурной склонности в общественном сознании и искусное подавление всех хороших влияний; все это, — иначе говоря, бесчестные интриги в самой гнусной и бесстыдной форме, — гнездились в каждом уголке переполненного зала.

¹ В греческой мифологии легендарный основатель города Фивы — Кадм — убил дракона и посеял его зубы. Из этих зубов выросли вооруженные воины, начавшие убивать друг друга.

Видел ли я среди них ум и благородство чувств — настоящее, честное, патриотическое сердце Америки? Кое-где адели капли его живой крови, но они тонули в общем потоке безоглядного авантюризма людей, занятых лишь погоней за прибылью и наживой. Эти люди и их развращенные учреждения стремятся сделать политическую борьбу настолько ожесточенной и грубой и в такой мере пагубной для достоинства всякого уважающего себя человека, чтобы природы чувствительные и деликатные держались от нее подальше, а им и им подобным была предоставлена полная свобода без помех драться за свои корыстные интересы. Так и идет эта безобразная потасовка, а те, кто в других странах, благодаря своему уму и положению, всех более стремились бы к законодательной деятельности, здесь отступают возможно дальше от этого позора.

Не приходится говорить, что среди представителей народа в обеих палатах и во всех партиях встречаются люди благородного характера и больших способностей. Наиболее выдающиеся из этих политических деятелей, известные и в Европе, уже описаны, и я не вижу оснований отступать от избранного мною правила: воздерживаться от всякого упоминания имен. Достаточно добавить, что я безоговорочно и от чистого сердца подписываюсь под самыми благоприятными отзывами о них и что личное и непосредственное общение с ними породило во мне еще большее восхищение и уважение. Эти люди поражают с первого взгляда, их трудно обмануть, они не медлят в действии, они энергичны, как львы, каждый из них настоящий Крайтон¹ в своей области; у них стремительные движения и блестящие глаза индейцев, упорство и великодушные американцев, и они столь же успешно представляют честь и мудрость своей страны у себя дома, как достопочтенный джентльмен — ее нынешний посол при английском дворе — поддерживает ее достоинство за границей.

Во время моего пребывания в Вашингтоне я бывал в обеих палатах чуть ли не каждый день. При первом моем посещении палаты представителей там возникли споры

¹ Джеймс Крайтон — шотландский ученый-лингвист и поэт XVI в.; имя его стало в Англии нарицательным для обозначения человека необыкновенных познаний.

по поводу резолюции, предложенной председателем; однако председатель победил. Когда я был там вторично, кто-то прервал оратора смехом, и оратор передразнил его, как это делают дети, ссорясь друг с другом; при этом он прибавил, что «заставит сейчас своих уважаемых противников запеть на другой лад». Но прерывают редко, — обычно оратора слушают в молчании. Тут больше ссорятся, чем у нас, и чаще обмениваются угрозами, чем это в обычае у джентльменов любого известного нам цивилизованного общества, но сюда еще не импортировано из парламента Соединенного королевства подражание звукам скотного двора. Самая характерная и самая излюбленная черта здешнего ораторского искусства — постоянное повторение одной и той же мысли или намека на мысль, только в новых выражениях; а в кулуарах спрашивают не «Что он сказал?», а — «Сколько времени он проговорил?» Впрочем, это лишь более широкое применение принципа, который преобладает повсюду.

Сенат — орган почтенный и благопристойный, и в его заседаниях больше торжественности и порядка. Обе палаты убраны прекрасными коврами, но невозможно описать, в какое состояние они приведены благодаря всеобщему невниманию к плевательницам (которыми снабжены все государственные мужи) и какие необычайные усовершенствования внесены в рисунок этих ковров брызгами и струйками, разлетающимися во всех направлениях. Могу лишь заметить, что я настоятельно рекомендовал бы иностранцам не смотреть на пол, а если им случится уронить что-либо, будь то даже кошелек, ни в коем случае не поднимать его голыми руками.

Вид стольких благородных джентльменов с раздутыми щеками кажется вначале по меньшей мере примечательным в своем роде зрелищем, и оно не становится менее примечательным, когда вы обнаруживаете, что опухоль эта происходит от солидной порции табака, которую они ухитрились засунуть за щеку. Довольно страшно также видеть, как достопочтенный джентльмен откидывается в своем покойном кресле, кладет ноги на стоящий перед ним письменный стол, отрезает перочинным ножом изрядный «кляп» от пачки жевательного табака и, подготовив его для употребления, выбрасывает старую жвачку изо рта, как пробку из духового ружья, и закладывает новую порцию на место прежней.

Я удивился, заметив, что даже заядлые старые жевальщики, обладающие большим опытом, не всегда являются меткими стрелками; это заставило меня несколько усомниться во всеобщем умении американцев обращаться с огнестрельным оружием, о чем мы столько наслышались в Англии. Меня посетили несколько джентльменов и за время беседы им не раз случалось промахнуться и не попасть в плевательницу, находившуюся в пяти шагах, а один (но он, несомненно, был близорук) принял закрытое окно за открытое на расстоянии трех шагов. В другой раз, когда я был в гостях и сидел перед обедом с двумя дамами и несколькими джентльменами у огня, один из нашей компании шесть раз недоплюнул до камина. Впрочем, мне кажется, что он вовсе и не метил в этот камин, поскольку перед решеткой лежала белая мраморная плита, которая была более удобна и, возможно, больше соответствовала его намерениям.

Патентное управление в Вашингтоне служит изумительным примером американской предприимчивости и изобретательности, так как содержащиеся в нем в огромном количестве модели — это изобретения только за последние пять лет (вся прежняя коллекция погибла во время пожара). Изящное здание, в котором они собраны, существует скорее на бумаге, чем в действительности, так как из четырех секций возведена лишь одна, — однако строительные работы приостановлены. Здание почтамта очень вместительно и очень красиво. В одном из министерств, среди коллекции редкостей и диковинок, хранятся подарки, поднесенные в свое время американским послом иностранными правителями, при которых они были аккредитованы как представители республики: по закону им не разрешается оставлять эти дары у себя. Признаюсь, эта выставка показалась мне весьма мало приятной и отнюдь не льстящей национальным понятиям о честности и чести. Вряд ли высоким принципам морали соответствует предположение, что джентльмена с добрым именем и солидным положением, находящегося при исполнении своих обязанностей, можно подкупить, подарив ему табакерку или саблю в богатых ножнах, или восточную шаль, и, конечно, стране, облакающей своих слуг доверием, служили бы лучше, чем той, которая делает их предметом столь низких и мелочных подозрений.

В предместье Джордж-Таун имеется иезуитский кол-

ледж; он чудесно расположен, и, насколько я мог заметить, дело в нем поставлено недурно. Я полагаю, что многие люди, не принадлежащие к римской церкви, пользуются этими заведениями, которые предоставляют большие преимущества в смысле обучения детей. Здесь, над рекою Потомак, тянутся очень живописные холмы, и местность эта, по всей вероятности, свободна от некоторых вредных свойств, присущих Вашингтону. Воздух на этой высоте совсем прохладный и свежий, тогда как в городе он обжигает жаром.

Особняк президента и снаружи и внутри больше всего похож на английский клуб. По окружающему его парку проложены дорожки; они красивы, и на них приятно смотреть; впрочем, у них такой неуютный вид, словно их сделали только вчера, а это далеко не способствует привлекательности подробных красот.

Впервые я посетил этот дом на следующее утро после приезда; меня повез туда один чиновник, который любезно взял на себя труд представить меня президенту.

Мы вошли в просторный вестибюль и, позвонив раза два-три в колокольчик, на что никто не отозвался, без дальнейших церемоний прошли по комнатам первого этажа, где празднично прогуливались различные другие джентльмены (многие в шляпах и держа руки в карманах). Некоторые из них были с дамами, которым они показывали помещение; другие сидели, развалясь, на диванах и в креслах; третьи, изнемогая от безделья, тоскливо зевали. Большинство присутствующих находилось здесь, главным образом, для того, чтобы подчеркнуть собственное превосходство над простыми смертными, ибо, насколько известно, у них не было никаких особых надобностей. Несколько человек пристально рассматривали предметы обстановки, словно стараясь удостовериться, что президент¹ (который был далеко не популярен) не распорядился какой-нибудь движимостью по собственному усмотрению и не продал с выгодой для себя часть мебели.

Взглянув на этих бездельников, рассеявшихся в красивой гостиной, выходящей на террасу, откуда открывается прекрасный вид на реку и окрестности, а также

¹ Во время пребывания Диккенса в США президентом был Джон Тайлер (1841—1845)— рабовладелец, лидер правого крыла демократической партии.

и на тех, что слонялись по более просторной приемной, известной под названием «восточной гостиной», мы прошли наверх, в комнату, где некоторые посетители ожидали аудиенции. При виде моего спутника чернокожий в штатском платье и желтых туфлях, который бесшумно скользил по комнате и шопотом успокаивал самых нетерпеливых, кивком показал, что узнал его, и скользнул прочь, чтобы доложить о нем.

Перед этим мы заглянули еще в одну комнату; вдоль стен ее шел большой голый деревянный прилавок или стойка, где лежали комплекты газет, в которых рылись всякие джентльмены. Но там, где мы находились сейчас, не было ничего, что помогало бы коротать время, — все было так же скучно и уныло, как в приемной любого нашего государственного учреждения или в гостиной врача в часы, когда он принимает больных на дому.

В комнате было человек пятнадцать — двадцать. Один — высокий, жилистый, крепкий старик с Запада, загорелый и смуглый; он сидел выпрямившись, положив на колени коричневую с белым шляпу, поставив между колен гигантский зонтик, и, упрямо хмурясь, глядел на ковер; в углах его рта залегли глубокие упрямые складки, словно он решил «втемяшить» президенту то, что собирается ему сказать, и не намерен отступить ни на шаг. Другой — фермер из Кентукки, ростом в шесть футов шесть дюймов, стоит в шляпе, прислонясь к стене, и, засунув руки под фалды сюртука, бьет каблуком по полу, словно под его пятой находится голова Времени и он в буквальном смысле «убивает» его. Третий — желчного вида человек с продолговатым лицом, с коротко подстриженными прилизанными черными волосами и досиня выбритыми щеками и подбородком, сосет набалдашник толстой трости, время от времени вынимая его изо рта, чтобы поглядеть, что из этого получается. Четвертый лишь свистит. Пятый лишь плюет. Впрочем, все перечисленные джентльмены столь упорно и энергично предавались этому последнему занятию и в таком изобилии расточали коврику свои щедроты, что горничные президента, я уверен, получают большое жалование или, выражаясь изысканнее, изрядную «компенсацию» — этим словом обозначают в Америке понятие жалования, когда речь идет о государственных служащих.

Мы прождали в этой комнате несколько минут, прежде

чем вернулся чернокожий посланец и провел нас в комнату поменьше, где у подobia письменного стола, заваленного бумагами, сидел сам президент. Он выглядел несколько усталым и озабоченным — что неудивительно, поскольку он на ножах со всеми, — но выражение его лица было мягкое и приятное, и держал он себя замечательно искренне, благородно и мило. Я подумал, что осанка и манеры его на редкость соответствуют посту, который он занимает.

Мне сказали, что по разумному этикету республиканского двора путешественник вроде меня может, отнюдь не нарушая приличий, отклонить приглашение на обед, а оно дошло до меня, только когда я уже закончил свои приготовления к отъезду, собираясь покинуть Вашингтон за несколько дней до того, который был указан в этом приглашении, и потому я посетил дом президента только еще раз. Это было по случаю одного из тех раутов, которые происходят в установленные дни между девятью и двенадцатью вечера и довольно непоследовательно именуются «левэ»¹.

Мы с женой отправились туда около десяти часов. Двор был забит экипажами и людьми, и, насколько я мог уразуметь, гости прибывали и уезжали, не следуя какому-либо особому распорядку. Тут во всяком случае не было полицейских, которые успокаивали бы перепуганных лошадей, дергая их за уздечку или размахивая дубинкой у них перед глазами, и я готов поклясться, что ни одного безобидного человека не ударили с размаху по голове и не ткнули изо всей силы в спину или в живот, и не довели при помощи какой-либо из этих мягких мер до столбняка, и не отправили затем под стражу за то, что он не двигался с места. И все же тут не было ни суматохи, ни беспорядка. Наш экипаж, когда настала его очередь, доехал до подъезда без того, чтобы кто-либо неистовствовал, ругался, орал, заставлял лошадей пятиться, и вообще без каких-либо помех, и мы высадились с такой легкостью и удобством, словно нас эскортировала вся полиция столицы от **A** до **Z** включительно.

Анфилада комнат первого этажа была ярко освещена, в вестибюле играл военный оркестр. В маленькой гости-

¹ Левэ (le lever, франц.) — утренний прием во дворце французского короля, происходивший, когда король вставал с постели.

ной, окруженные группой гостей, стояли президент и его невестка, игравшая роль хозяйки дома: очень интересная, грациозная и элегантная дама. Один из джентльменов в этом кружке, видимо, взял на себя обязанности распорядителя. Ни других чиновников, ни лиц из свиты президента я здесь не видел, да в них и не было нужды.

Большая гостиная, о которой я уже упоминал, равно как и другие комнаты нижнего этажа, была набита доотказа. Собравшееся общество нельзя было назвать избранным в нашем понимании этого слова, поскольку здесь были люди, стоящие на самых разных ступенях общественной лестницы и принадлежащие к различным классам; здесь не было и большего количества дорогих туалетов, выставленных напоказ — по правде говоря, некоторые костюмы вполне можно было бы назвать весьма нелепыми. Но ни одно грубое или неприятное происшествие не нарушило этикета и приличий; и каждый человек — даже из тех, что толпились в вестибюле и были впущены сюда без всяких билетов или приглашений, — просто чтобы поглазеть, — казалось, чувствовал, что он является органическим элементом Белого дома и несет ответственность за сохранение его в подобающем виде, с тем чтобы он выглядел возможно более достойно.

Эти гости, какое бы положение они ни занимали в обществе, были не лишены известной утонченности, вкуса и умения оценить умственную одаренность других людей и чувства благодарности к тем, кто, применяя на мирном поприще свои большие дарования, открывал своим соотечественникам новые горизонты и новую прелесть жизни и поднимал их престиж в других странах; прекрасным доказательством тому послужил сердечный прием, оказанный моему дорогому другу Вашингтону Ирвингу, который был недавно назначен посланником при испанском дворе и в этом новом ранге находился в тот вечер среди них в первый и последний раз перед своим отъездом за границу. Я искренно верю, что при всем сумасбродстве американской политики лишь немногие общественные деятели были столь искренне, преданно и любовно обласканы, как этот совершенно очаровательный писатель, и редко какое широкое собрание внушало мне такое уважение, как эта пылкая толпа, когда я увидел, как она, словно один человек, отвернулась от шумных ораторов и государственных чиновников и, охваченная великодушным и честным порывом,

вом, устремилась к человеку мирных занятий, гордясь его возвышением, бросающим лучезарный отсвет на их общую родину, и от всего сердца благодаря его за изящные фантазии, которые он щедро рассыпал пред ними. Пусть долго раздаст он эти сокровища неоскудевающей рукой и пусть долго с такими же похвалами вспоминают о нем!

Срок, отведенный нами для пребывания в Вашингтоне, подходил к концу, и нам предстояло отправиться дальше, хотя расстояния, которые мы преодолевали по железной дороге, странствуя между старыми городами, считались на этом большом континенте совсем ничтожными.

Сначала я намеревался направиться на юг — в Чарльстон. Но тут я подумал о том, сколько продлится это путешествие, а также о преждевременной для этого месяца жаре, которую даже в Вашингтоне подчас бывало трудно выносить, и к тому же мысленно взвесил, как мучительно мне будет жить в постоянном созерцании рабства, — причем весьма сомнительны шансы на то, что за время, которым я располагаю, мне удастся наблюдать его без неизбежных прикрас, что позволило бы прибавить какие-то новые факты к множеству уже собранных; и вот я начал прислушиваться к нашептываниям, часто раздававшимся у меня в ушах, когда я жил еще дома, в Англии, и не представлял себе, что когда-либо попаду сюда, — и снова я стал мечтать о городах, вырастающих, словно дворцы волшебных сказок, в пустынях и лесах Запада.

Замечания, которые мне пришлось выслушать от многих, когда я стал поддаваться желанию пуститься в путь в этом направлении, были, как водится, довольно обескураживающими; мою спутницу запугали такими ужасами, опасностями и неудобствами, что я не могу их все припомнить и не стану перечислять, даже если бы и мог; достаточно сказать, что среди наименее страшных были названы взрывы паровых котлов и крушения на железной дороге. Но, так как западный маршрут был намечен для меня самым авторитетным из моих добрых друзей, к какому я мог обратиться, и так как я не слишком доверял всем этим запугиваниям, то я скоро выработал дальнейший план действий.

Я решил отправиться на юг только до Ричмонда, штат Виргиния, затем повернуть и взять курс на Дальний Запад...

**ИЗ ЦИНЦИНАТИ В ЛУИСВИЛЬ
НА ОДНОМ ПАКЕТБОТЕ
И ИЗ ЛУИСВИЛЯ В СЕНТ-ЛУИС НА ДРУГОМ.
СЕНТ-ЛУИС**

Покинув Цинциннати в одиннадцать часов утра, мы направились в Луисвиль на пакетботе «Пайк», — на нем везли почту, и он был более высокого класса, чем тот, на которых мы путешествовали раньше. Поскольку на переезд требуется не более двенадцати или тринадцати часов, мы решили выбрать такой пароход, который прибывал бы к ночи на место, так как нас никогда особенно не прельщала мысль о ночлеге в каюте, если можно было спать где-нибудь в другом месте.

Случилось так, что на борту этого судна, помимо обычной скучной толпы пассажиров, находился некто Питчлин, вождь индейского племени чокто; он послал мне свою визитную карточку, и я имел удовольствие долго беседовать с ним.

Он превосходно говорил по-английски, хотя, по его словам, начал изучать этот язык уже взрослым юношей. Он прочел много книг, и поэзия Вальтера Скотта¹, видимо, произвела на него глубокое впечатление, — особенно вступление к «Даме с озера» и большая сцена боя в «Мармионе»: несомненно, его интерес и восторг объяснялись тем, что эти поэмы были глубоко созвучны его стремлениям и вкусам. Он, видимо, правильно понимал все прочитанное, и если какая-либо книга затрагивала его своим содержанием, она вызывала в нем горячий, непосредственный, я бы сказал даже страстный, отклик. На

¹ Вальтер Скотт (1771—1832) — шотландский писатель и поэт, автор исторических романов.

нем был наш обычный повседневный костюм, который свободно и с непринужденным изяществом сидел на его прекрасной фигуре. Когда я высказал сожаление по поводу того, что вижу его не в национальной одежде, он на мгновение вскинул вверх правую руку, словно потрясая неким тяжелым оружием, и, опустив ее, ответил, что его племя уже утратило много такого, что поважнее одежды, и скоро совсем исчезнет с лица земли; но он прибавил с гордостью, что носит национальный костюм дома.

Он рассказал мне, что семнадцать месяцев не был в родных краях — к западу от Миссисипи — и теперь возвращается домой. Все это время он находился, главным образом, в Вашингтоне в связи с переговорами, которые ведутся между его племенем и правительством, — они еще не пришли к благополучному завершению (сказал он с оттенком грусти в голосе), и он опасается, что никогда не придут: ведь что могут поделывать несколько бедных индейцев против людей, столь опытных в делах, как белые? Ему не нравилось в Вашингтоне: очень он устал от больших и маленьких городов, и его тянет в лес и прерии.

Я спросил его, что он думает о конгрессе? Он ответил с улыбкой, что с точки зрения индейца конгрессу не хватает достоинства.

Он сказал, что ему очень хотелось бы на своем веку побывать в Англии, и он с большим интересом говорил о тех достопримечательностях, которые там имеются. Он очень внимательно выслушал мой рассказ о той комнате в Британском музее, где хранятся предметы быта племен, переставших существовать тысячи лет тому назад, и нетрудно было заметить, что при этом он думал о постепенном вымирании своего народа.

Это навело нас на разговор о галлерее м-ра Кэтлина¹, о которой он отозвался с большой похвалой, заметив, что в этой коллекции есть и его портрет и что все портреты там превосходны. Мистер Купер², сказал он, хорошо обрисовал краснокожих; он уверен, что это удалось бы и

¹ Дж. Кэтлин (1796—1872) — американский художник, известный своими портретами индейцев.

² Фенимор Купер (1789—1851) — американский писатель, автор многочисленных романов о жизни индейских племен и о борьбе американцев с ними.

мне, если б я поехал с ним на его родину и стал охотиться на бизонов, — ему очень хотелось, чтобы я это сделал. Когда я сказал ему, что даже если б и поехал, то бизоны вряд ли пострадали бы от этого, — он воспринял мой ответ как остроумнейшую шутку и от души расмеялся.

Он был замечательно красив; насколько я мог судить, лет сорока с небольшим. У него были длинные черные волосы, орлиный нос, широкие скулы, смуглая кожа и очень блестящие, острые, черные, пронзительные глаза. В живых осталось всего лишь двадцать тысяч чокто, сказал он, и число их уменьшается с каждым днем. Некоторые его братья-вожди принуждены были стать цивилизованными людьми и приобщиться к тем знаниям, которые есть у белых, так как это было для них единственной возможностью существовать. Но таких немного, а остальные живут, как жили. Он задержался на этой теме и несколько раз повторил, что если они не постараются ассимилироваться со своими покорителями, то будут сметены с лица земли прогрессом цивилизованного общества.

Когда мы, прощаясь, пожимали друг другу руки, я сказал ему, что он непременно должен приехать в Англию, раз ему так хочется увидеть эту страну; что я надеюсь когда-нибудь встретиться с ним там и могу обещать, что он найдет хороший прием и теплое отношение. Он был явно польщен этим заверением, хотя и заметил, добродушно улыбаясь и лукаво покачивая головой, что англичане очень любили краснокожих в те времена, когда нуждались в их помощи, но не слишком беспокоились о них потом.

Он с достоинством откланялся, — безупречнейший рожденный джентльмен, каких мне редко приходилось встречать, — и пошел прочь, выделяясь среди толпы пассажиров, как существо иной породы. Вскоре после этого он прислал мне свой литографированный портрет, — он очень похож на нем, хотя, пожалуй, не так красив; и я бережно храню этот портрет в память о нашем кратком знакомстве.

Никаких особенно живописных мест мы за этот день не проезжали и в полночь прибыли в Луисвилль. Ночевали мы в «Галт-Хауз» — великолепном отеле, где мы устроились так роскошно, словно находились в Париже, а не за сотни миль по ту сторону Аллеганских гор.

Поскольку в городе не было ничего настолько интересного, чтобы нам стоило задержаться, мы решили на следующий же день продолжать наше путешествие на другом пакетботе — «Фултон», на который мы должны были сесть около полуночи в пригороде, именуемом Портленд, где пакетбот будет ожидать пропуска через шлюз.

Время после завтрака мы посвятили поездке по городу, — правильно распланированному и веселому: улицы его, пересекающиеся под прямыми углами, обсажены молодыми деревьями. Здания — закопченные и почерневшие от употребления битуминозного угля, но англичанин вполне привычен к такому зрелищу и потому не склонен придирааться. Тут не было заметно большого делового оживления, а ряд недостроенных зданий и незаконченных усовершенствований словно указывал на то, что город пережил строительную горячку в период увлечения «прогрессом» и теперь страдает от реакции, последовавшей за столь лихорадочным напряжением всех его сил.

По дороге в Портленд мы проехали мимо «Канцелярии мирового судьи», весьма позабавившей меня, — она больше походила на школу, возглавляемую дамой-патронессой, чем на судебный орган, ибо это грозное учреждение представляло собой всего лишь маленькое, располагающее к лени, никудышное зальце с открытой террасой, выходящей на улицу; две-три фигуры (по всей вероятности, мировой судья и его пристава) грелись на солнышке, — воплощение истомы и покоя. Это был великолепный образ Фемиды, удалившейся от дел за недостатком клиентов: она продала меч и весы и теперь дремлет, устроившись поудобнее и положив ноги на стол.

Здесь, как и повсюду в этих местах, дорога кишит свиньями всех возрастов: куда ни глянь — одни развалились и крепко спят, другие с хрюканьем бродят по дороге в поисках скрытых лакомств. Я всегда чувствовал необъяснимую нежность к этим нелепым животным и, когда не было других развлечений, находил неиссякаемый источник забавы в наблюдении за ними. Во время нашей поездки в то утро я оказался свидетелем маленького инцидента между двумя поросятами, в котором было столько человеческого, что в ту минуту он казался уморительно комичным, хотя, должен признаться, в пересказе это получается довольно неинтересно.

Один молодой джентльмен (весьма деликатный боровок с несколькими соломинками, прилипшими к пяточку, что указывало на производившиеся им недавно изыскания в навозной куче) шествовал по дороге в глубокой задумчивости, как вдруг перед его испуганным взором предстал его брат, который до сих пор лежал незамеченным в размытой дождем выбоине, — он весь был покрыт жидкой грязью и походил на привидение. Никогда еще все поросячье существо молодого джентльмена не бывало столь потрясено! Он попятился по меньшей мере фута на три, секунду смотрел, не мигая, и затем пустился улепetyвать во все лопатки; его крошечный хвостик трясся от быстрого бега и от ужаса, как обезумевший маятник. Но не успев уйти далеко, он стал рассуждать сам с собой о природе этого устрашающего видения и, раздумывая, постепенно все замедлял бег; наконец он остановился и повернулся. Все из той же выбоины смотрел на него брат, весь покрытый блестящей на солнце грязью и безмерно удивленный его поведением! Едва успев удостовериться в этом, — а удостоверился он так тщательно, что казалось, вот-вот заслонит от солнца глаза ладонью, чтобы лучше видеть, — он помчался назад крупной рысью, набросился на брата и отхватил кончик его хвоста в качестве предупреждения: впредь быть поосторожнее и никогда больше не позволять себе подобных шуток со своими родичами.

Когда мы пришли, пакетбот стоял в канале в ожидании медлительной процедуры пропуска через шлюз; и мы тотчас взошли на борт; вскоре после этого нас посетила весьма оригинальная личность — некий великан из Кентукки по имени Портер — человек ростом всего-навсего в семь футов восемь дюймов, без каблуков.

Никогда еще в истории не существовало племени, которое бы так наглядно опровергало историю, как эти самые великаны, или которое так жестоко оклеветали бы летописцы. Вместо того чтобы, рыча и опустошая все вокруг, вечно блуждать по миру в поисках новых припасов для своих людоедских кладовых и учинять незаконные набеги на рынки, — они оказываются самыми кроткими людьми на земном шаре, склонными к молочной и растительной пище и предпочитающими всему на свете спокойную жизнь. Приветливость и мягкость их характера столь явственны, что, признаюсь, я считаю юнца, который про-

славился убийством этих беззащитных существ¹, вероломным бандитом: прикрываясь благими намерениями, он, должно быть, лишь втайне прельстился богатствами, сокрытыми в их замках, и надеждой на поживу. И я тем более склонен так думать, что даже певец этих подвигов, при всем его пристрастии к своему герою, вынужден признать, что чудовища, которых он умертвил, отличались самым кротким и невинным нравом, были крайне простодушны и легковверны, слушали, разинув рот, самые неправдоподобные рассказы, легко попадались в ловушку и даже (как Великан из Уэллса) в своем чрезмерном радушии гостеприимных хозяев предпочли бы скорее отдать все до последнего, чем уличить гостя в неблагоприятной ловкости рук и склонности к мошенничеству.

На примере великана из Кентукки лишней раз подтверждалась справедливость этого положения. Он страдал слабостью в коленках, и на его длинном лице читалась такая доверчивость, словно он готов был просить поощрения и поддержки даже у человека ростом в пять футов девять дюймов. Ему всего двадцать пять лет, сказал он, и вырос он лишь недавно, — пришлось удлинять его невыразимые. В пятнадцать лет он был коротышкой, и тогда его отец-англичанин и мать-ирландка насмеялись над ним, говоря, что он слишком мал, чтобы поддерживать достоинство семьи. Он добавил, что здоровье у него было неважное, но, правда, последнее время он чувствует себя лучше; впрочем, есть немало низкорослых людей, которые шопотом утверждают, что он пьет сверх меры.

Насколько я понимаю, он кучер, хотя, как он правит лошадьми, понять трудно — разве только становится на запятки и ложится всем телом на крышу экипажа, упираясь подбородком в козлы. В качестве диковинки он захватил с собой свой пистолет. Если бы окрестить его «Ружье-Малютка» и выставить в витрине лавки, это составило бы капитал любому торговцу в Холберне. Показав себя и поболтав немного, он распростился с нами и, захватив свой карманный «пистолетик», стал пробираться к выходу из каюты, возвышаясь среди людей ростом в шесть футов и больше, точно маяк среди фонарных столбов.

¹ Имеется в виду герой английской детской сказки «Джек, истребитель великанов».

Несколько минут спустя мы вышли из канала и двинулись по реке Огайо.

Никогда в жизни не видел я столь беспокойной, тягостной скуки, какая царила на этом судне во время еды; даже воспоминание о ней давит меня, и я на минуту чувствую себя несчастным. Сидя у себя в каюте с книгой или рукописью на коленях, я просто страшился наступления часа, призывавшего нас к столу, и так рад был снова вырваться оттуда, словно это была кара за грехи или преступления. Если б нашими сотрапезниками были здоровое веселье и хорошее настроение, я мог бы макать корку хлеба в воду фонтана вместе с бродячим музыкантом Лесажа и наслаждаться всеобщей радостью и весельем; но сидеть рядом со столькими себе подобными тварями, превращая утоление жажды и голода в какое-то деловое предприятие; наспех, подобно йэху¹, опустошать свою кормушку, а затем угрюмо красться прочь; видеть, что в этом общественном таинстве не осталось ничего, кроме алчного удовлетворения животных потребностей, — все это глубоко противно моей натуре, и я совершенно убежден, что воспоминание об этих похоронных трапезах будет преследовать меня, как страшный кошмар, всю мою жизнь.

Было на этом корабле и кое-что приятное, чего не было на других: капитана (простецкого добродушного малого) сопровождала его хорошенькая жена, которая была расположена к веселью и общительности, как и несколько других дам-пассажирок, сидевших на нашем конце стола. Но ничто не могло противостоять удручающему настроению всей компании в целом. Это какое-то гипнотизирующее отупение, которое сломало бы самого веселого и остроумного человека на свете. Шутка показала бы здесь преступлением, а улыбка превратилась бы в гримасу ужаса. Бесспорно, с тех пор как стоит мир, никогда и нигде еще не собирались вместе такие свинцово-тяжелые люди, создававшие вокруг себя такую гнетущую, томительную, мертвящую атмосферу и немедленно заблевавшие несварением желудка от всего веселого, жизнерадостного, искреннего, общительного и простодушного.

¹ Фантастические скотоподобные существа в сатирическом романе английского писателя Свифта (1667—1745) «Путешествие Гулливера».

Да и пейзаж, когда мы подошли к слиянию рек Огайо и Миссисипи, был далеко не вдохновляющим. Деревья здесь были чахлые и малорослые; берега низкие и отлогие; бревенчатые хижины и целые поселения попадались реже; обитатели их выглядели более изнуренными и жалкими, чем все, кого мы до сих пор встречали. В воздухе — ни птичьего пения, ни аромата цветов, ни смены света и тени от быстро бегущих облаков. Час за часом все так же, не мигая, смотрит на все ту же однообразную картину неизменно раскаленное, слепящее небо. Час за часом, медленно и устало, как само время, катит свои воды река.

Наконец к утру третьего дня мы прибыли в местность настолько безотрадную, что даже самые пустынные места, по которым мы проезжали ранее, казались, по сравнению с этим, необычайно интересными. У слияния двух рек, на побережье столь плоском, низком и болотистом, что в известное время года дома здесь затопляет до самых крыш, находится настоящий рассадник лихорадки, малярии и смерти; это место славится в Англии, как некий Кладезь золотых надежд, и вербовщики расхваливают его, прибегая к чудовищной лжи, что влечет за собою разорение многих и многих. Гнусное болото, где гниют недостроенные дома; кое-где расчищены небольшие участки в несколько ярдов; они изобилуют отвратительной, ядовитой растительностью, и под ее гибельной сенью несчастные поселенцы, которых удалось заманить сюда, чахнут, гибнут и складывают здесь свои кости. Воды постылой Миссисипи образуют здесь воронки и водовороты, и она поворачивает на юг, оставляя позади это склизкое чудовище, омерзительное для глаз, этот очаг недугов, безобразную гробницу, могилу, не озаренную ни малейшим проблеском надежды, — место, не скрашенное ни единым приятным свойством земли, воздуха или воды, — этот злосчастный Каир.

Но какими словами описать Миссисипи, великую мать рек, у которой (хвала небесам!) нет детей, похожих на нее? Огромная канава, кое-где в две-три мили шириной, по которой со скоростью шести миль в час течет жидкая грязь; ее сильное и бурное течение повсюду стесняют и задерживают громадные стволы и целые деревья; они то сбиваются вместе, образуя большие плоты, в расщелинах которых вскипает ленивая болотная пена и остается потом

качаться на волнах; то катятся мимо, словно гигантские тела, выставляя из воды беспорядочно переплетенные корни, похожие на спутанные волосы; то скользят поодиночке, как огромные пиявки; то крутятся и крутятся в воронке какого-нибудь небольшого водоворота, как раненые змеи. Низкие берега, карликовые деревья, болота, кишачи лягушками, разбросанные там и сям жалкие хижинки; их обитатели — бледные, с ввалившимися щеками; нестерпимый зной; москиты, проникающие в каждую щель и трещину на корабле; и на всем — грязь и плесень, ничего отрадного вокруг, кроме безобидных зарниц, которые каждую ночь полыхают на темном горизонте.

Два дня кряду мы пробивали себе путь вверх по бурлящему потоку, то и дело наталкиваясь на пловучие бревна или останавливаясь, чтобы избежать более опасных препятствий — коряг или топляков, то есть целых деревьев с корнями, скрытыми под водой. В очень темные ночи вахтенный на баке по всплеску воды определяет приближение к какой-нибудь преграде и звонит в висящий рядом колокол, давая знак остановить машину; по ночам этому колоколу всегда хватает работы, а за звоном обычно следует толчок, да такой, что нелегко бывает удержаться на койке.

День угасал здесь во всем своем великолепии: небесный свод окрасился багрянцем и золотом до самого зенита. Солнце садилось за прибрежной равниной, и на фоне закатного неба каждая былинка вырисовывалась так четко и ясно, как прожилки в листке; а когда солнце медленно опустилось за горизонт, красные и золотые полосы на воде стали тускнеть и тускнеть, словно и они тоже опускались на дно; и все пламенеющие краски уходящего дня меркли мало-помалу, уступая место ночной тьме, — и, наконец, все вокруг стало еще более пустынным и унылым, чем прежде, а вместе с закатом угасли и те чувства, которые он пробуждал.

Во время плавания мы пили грязную воду этой реки. Она густа, как каша, а местные жители считают ее полезной для здоровья. Я видел воду, подобную этой, только в фильтрах водоочистительной станции и нигде больше.

На четвертый вечер после отплытия из Луисвиля мы прибыли в Сент-Луис, и здесь я был свидетелем финала истории, в сущности довольно пустышной, но доставив-

шей удовольствие наблюдателям и занимавшей меня на протяжении всего путешествия.

У нас на борту находилась крошечная мама с крошечным малюткой; и мама и малютка были веселые, милые, с ясными глазками, — на них приятно было смотреть. Крошечная мама возвращалась из Нью-Йорка после долгого пребывания у своей больной матери, причем она покинула свой дом в Сент-Луисе в таком состоянии, в каком мечтают быть все женщины, искренне любящие своих повелителей. Малютка родился в доме ее матери, и она целый год не видела своего супруга (к которому теперь возвращалась), расставшись с ним спустя месяц или два после свадьбы.

И уж, конечно, на свете не бывало женщины, исполненной больших надежд, нежности, любви и тревоги, чем эта маленькая женщина: целый день она спрашивала — придет ли *Он* на пристань, и получил ли *Он* ее письмо, и узнает ли *Он* малютку при встрече, если она пошлет его на берег с кем-нибудь другим, — этого, вообще говоря, было трудно ожидать, принимая во внимание, что *Он* никогда в жизни не видел младенца, но молодой матери это казалось вполне возможным. Она была таким бесхитростным маленьким созданием, и так вся светила и сияла радостью, и так простодушно делилась всем, что занимало все ее мысли, что остальные пассажиры прониклись живейшим участием и интересом к делу; капитан же (он узнал обо всем от своей жены) оказался удивительным хитрецом, могу вас уверить: всякий раз, как мы встречались за столом, он, словно по забывчивости, осведомлялся, думает ли она сойти на берег в тот же вечер, как мы придем туда (он-то лично думал, что она предпочтет переночевать на судне), и отпускал немало других шуточек в том же роде. Была тут одна маленькая, сморщенная старушка, с лицом, как печеное яблоко, которая воспользовалась случаем, чтобы вслух усомниться в верности мужей за время столь длительной разлуки; была тут и еще одна дама (с маленькой собачкой), достаточно старая, чтобы морализировать по поводу непрочности человеческих привязанностей, и, однако, не такая старая, чтобы не понянчить иногда малютку или не посмеяться с остальными, когда маленькая мама называла его именем отца и от полноты

душевной задавала младенцу всевозможные фантастические вопросы, касавшиеся папаша.

Когда до места нашего назначения осталось не более двадцати миль, малютку пришлось уложить в постель, — что оказалось прямо ударом для маленькой мамы. Но она это перенесла все с тем же добродушием: повязала платком голову и вышла с остальными на палубу. А там, — каким она стала оракулом, как перечисляла места, мимо которых нам предстояло проезжать, и как подшучивали над нею замужние дамы, и как охотно к ним присоединялись незамужние и какими взрывами смеха встречала каждую шутку маленькая мама (которая так же легко могла бы расплакаться)!

Наконец вот они — огни Сент-Луиса, а вон — пристань, а тут и сходни, — и маленькая мама, закрыв лицо руками и смеясь (или делая вид что смеется) больше прежнего, бросилась к себе в каюту и заперлась там. Не сомневаюсь, хоть я и не мог видеть этого, что в очаровательной непоследовательности своего волнения она заткнула уши, чтобы не слышать, как *Он* спрашивает о ней.

Потом на борт хлынула большая толпа, хотя корабль даже не успел стать на якорь, а все еще блуждал среди других судов, выбирая место для стоянки; и все искали глазами мужа, и никто не мог найти его, как вдруг среди нас — одному богу известно, каким образом она вдруг очутилась здесь, — мы увидели маленькую маму, которая обеими руками крепко обхватила шею славного, симпатичного молодого крепыша; и вот, мгновение спустя, она уже чуть не хлопает в ладоши от радости, вталкивая мужа через маленькую дверцу в свою маленькую каюту, чтобы он посмотрел на спящего малютку.

Мы направились в большой отель под названием «Плантерс-Хауз», — это строение, похожее на английскую больницу, с длинными коридорами и голыми стенами, в которых над дверями, ведущими в номера, устроены отверстия для свободной циркуляции воздуха. В нем было великое множество постояльцев, и когда мы подъехали, такое множество огней сверкало и сияло в окнах, освещая улицу внизу, словно здесь устроили иллюминацию по поводу какого-то праздника. Это прекрасное заведение, и хозяева его самым щедрым обра-

зом заботятся об удобствах ближних. Однажды, когда мы с женой обедали вдвоем в нашей комнате, я насчитал на столе сразу четырнадцать блюд.

В старой французской части города улицы узкие и кривые, а некоторые дома имеют причудливый и живописный вид: они построены из дерева, с шаткими галереями перед окнами, на которые поднимаются с улицы по ступеням лестницы или, точнее, стремянки. Есть в этом квартале забавные маленькие цырюльни, и кабачки, и масса нелепых старых построек с подслеповатыми оконцами, какие встречаются во Фландрии. У некоторых из этих странных обиталищ с мансардами и слуховыми окошками сохранилось нечто от французской манеры пожимать плечами, и, кажется, что, скособочась от старости, они еще и голову склонили набок, будто выражая крайнее удивление по поводу американских новшеств.

Вряд ли надо говорить, что эти последние представлены доками, складами и новыми зданиями, высящимися повсюду, куда ни глянь, а также еще большим количеством обширных планов, которые пока что находятся «в процессе осуществления». Однако дело зашло так далеко, что некоторые очень хорошие дома, широкие улицы и облицованные мрамором магазины уже почти закончены, и через несколько лет город, несомненно, станет куда лучше, хотя по красоте и нарядности он вряд ли сможет когда-либо соперничать с Цинциннати.

Здесь преобладает римско-католическая вера, завезенная сюда первыми французскими поселенцами. Из общественных учреждений следует упомянуть иезуитскую школу, женский монастырь «Святого сердца» и большую часовню при школе, которую как раз строили, когда я был в городе; ее предполагалось освятить второго декабря следующего года. Строитель этого здания — один из святых отцов, преподающих в школе, и работы ведутся под его непосредственным руководством. Орган прислан из Бельгии.

Помимо этих заведений имеется еще римско-католический собор, носящий имя св. Франциска-Ксаверия, а также больница, основанная на средства покойного жителя этого города, который принадлежал к указанной церкви. Многие служители этой церкви отправляются миссионерами к индейским племенам.

В этом городе — три бесплатные школы, которые уже отстроены, и в них много учеников. Четвертая еще строится, но скоро и она будет открыта.

Ни один человек никогда не признает, что в местности, где он живет, нездоровый климат (если только он не собирается уезжать оттуда), а потому я, несомненно, дам обитателям Сент-Луиса повод для спора, если подвергну сомнению абсолютную благотворность их климата и намекну, что, как мне кажется, летом и осенью он должен располагать к болезням. Добавлю лишь, что тут очень жарко, город лежит между большими реками и вокруг него тянутся обширные неосушенные болота, — и предоставлю читателю возможность самому составить себе мнение о нем.

РАБСТВО

Поборники рабства в Америке — системы, о зверствах коей я не напишу ни слова, которое не было бы подтверждено и обосновано, — могут быть подразделены на три большие категории.

К первой категории относятся более умеренные и расчётливые собственники человеческого стада, вступившие во владение им, как известной частью своего оборотного капитала, но понимающие в теории всю чудовищность этой системы и сознающие скрытые в ней опасности для общества, которые — как бы они ни были отдалены и как бы медленно ни надвигались — настигнут виновных столь же несомненно, как несомненно наступит день страшного суда.

Вторая категория состоит из всех тех владельцев, потребителей, покупателей и продавцов живого товара, которые, невзирая ни на что, будут потреблять, покупать и продавать его, пока кровавая страница не придет к кровавому концу; тех, кто упрямо отрицает ужасы этой системы наперекор такой массе доказательств, какая никогда еще не приводилась ни по одному поводу и к которой опыт каждого дня прибавляет все новые и новые; кто в любую минуту с радостью вовлечет Америку в войну гражданскую или международную при условии, что ее конечной и единственной целью будет закрепление рабства на веки вечные, утверждение их права сечь, терзать и мучить невольников без вмешательства со стороны какой-либо человеческой власти и без препятствий со стороны какой-либо человеческой силы; кто, говоря

о свободе, подразумевает свободу угнетать себе подобных и быть свирепым, безжалостным и жестоким; и каждый из этих людей на своей земле, в республиканской Америке, — более суровый, неумолимый и безответственный деспот, чем калиф Гарун Аль-Рашид в своем кроваво-красном одеянии.

Третью, не менее многочисленную или влиятельную категорию составляет вся та утонченная знать, для которой стоящие выше невыносимы, а равные — недопустимы; все те, в чьем понимании быть республиканцем означает: «Я не потерплю никого над собой, и никто из низших не должен чересчур приближаться ко мне»; чья гордость в стране, где добровольную зависимость рассматривают как позор, должна улажаться невольниками и чьи неотъемлемые права могут осуществляться лишь при условии угнетения негров.

Иногда подчеркивалось, что при бесплодных попытках внедрить идеи свободы в американской республике (какой парадокс для будущих историков!) недостаточно принимали во внимание наличие первой категории людей, причем утверждалось, что к ним относятся несправедливо, смешивая их со второй категорией. Это несомненно так; среди них не однажды встречались примеры благородства, когда они приносили денежные и личные жертвы, и следует лишь горячо пожалеть, что пропасть между ними и поборниками освобождения стараются расширить и углубить любыми средствами, тем более что среди этих рабовладельцев бесспорно есть немало добрых хозяев, которые мягче проявляют свою противостественную власть. Все же приходится опасаться, что и с их стороны неизбежна несправедливость при тех условиях, которые требуют постоянного проявления человечности и правды. Рабство не становится ни на йоту более допустимым оттого, что найдется несколько сердец, которые могут частично воспротивиться его ожесточающему влиянию, и точно так же волна возмущения и справедливого гнева не может остановиться лишь потому, что в своем нарастании она захлестнет тех немногих, кто сравнительно невинен среди сонма виновных.

Эти лучшие люди среди защитников рабства придерживаются обычно следующей позиции: «Система плоха, и я лично охотно покончил бы с ней, если б мог, — весьма охотно. Но она не так плоха, как кажется вам в Англии».

Вас вводят в заблуждение разглагольствования аболиционистов¹. Большинство моих невольников очень привязано ко мне. Вы скажете, что лично я не позволяю сурово обращаться с ними, но разрешите вас спросить, неужели, по-вашему, бесчеловечное обращение с ними может быть общепринятым, — ведь это понижает их ценность и явно противоречит интересам хозяев?»

Разве в интересах какого-нибудь человека воровать, играть в азартные игры, растрачивать свое здоровье и умственные способности в пьянстве, лгать, нарушать клятвы, предаваться ненависти, стремиться к мести или совершать убийства? Нет. Все это пути к гибели. Но почему же люди следуют по ним? Потому что подобные склонности суть пороки, присущие человечеству. Вычеркните же, друзья рабства, из списка человеческих страстей животную похоть, жестокость и злоупотребление неограниченной властью (из всех земных искушений перед этим труднее всего устоять), и, когда вы сделаете это, — но не прежде, — мы спросим вас, в интересах ли хозяина сечь и калечить невольников, над чьим телом и жизнью он имеет абсолютную власть!

Но вот эта категория людей вместе с последней из мною перечисленных, — жалкой аристократией, порожденною лжереспубликой, — возвышает свой голос и заявляет: «Вполне достаточно общественного мнения, чтобы предотвратить те жестокости, которые вы обличаете». Общественное мнение! Но ведь общественное мнение в рабовладельческих штатах основано на рабстве, не так ли? Общественное мнение в рабовладельческих штатах отдает рабов на милость их хозяев. Общественное мнение издает законы и отказывает рабам в защите правосудия. Общественное мнение сплело кнут, накалило железо для клейма, зарядило ружье и взяло под защиту убийцу. Общественное мнение угрожает смертью аболиционисту, если он рискнет появиться на Юге; и среди бела дня тащит его на веревке, обмотанной вокруг пояса, по улицам первого же города на Востоке. Общественное мнение в городе Сент-Луисе несколько лет тому назад заживо сожгло невольника на медленном огне; и общественное мнение поныне оставляет на посту того достопочтенного судью, который в своей речи к присяжным,

¹ Сторонники уничтожения рабовладения в Америке.

подобранным для суда над убийцами невольника, сказал, что их ужасающий поступок явился выражением общественного мнения и, следовательно, не должен караться законом, созданным общественными чувствами. Общественное мнение встретило эту доктрину взрывом бешеного восторга и отпустило заключенных на все четыре стороны, вернув им прежний вес, влияние и положение в обществе.

Общественное мнение! Какая категория людей, обладающая огромным перевесом над остальной частью общества, получила право представлять общественное мнение в законодательных органах? Рабовладельцы. Они посылают в конгресс от своих двенадцати штатов сто человек, тогда как четырнадцать свободных штатов, где свободного населения почти вдвое больше, посылают сто сорок два человека. Перед кем всего смиреннее склоняются кандидаты в президенты, перед кем всего влюбленнее виляют они хвостом и кому всего усерднее потакают они своими угодливыми декларациями? Все тем же рабовладельцам.

Общественное мнение! Да вы послушайте общественное мнение «свободного» Юга, выразителями которого являются его депутаты в палате представителей в Вашингтоне.

— Я весьма уважаю председателя, — изрекает Северная Каролина, — я весьма уважаю председателя как главу палаты и весьма уважаю его как человека; и только это уважение мешает мне броситься к столу и разорвать в клочки только что представленную петицию об уничтожении рабства в округе Колумбия.

— Предупреждаю аболиционистов, — говорит Южная Каролина, — этих невежд, этих взбесившихся варваров, что, если случай предаст кого-нибудь из них в наши руки, пусть ждет веревки.

— Пусть только аболиционист появится в пределах Южной Каролины, — кричит третий, мягкосердечный коллега Каролины, — если мы поймаем его, мы будем его судить, и, хотя бы вмешались все правительства на свете, включая федеральное правительство¹, мы повесим его.

Общественное мнение создало этот закон. Он гласит, что в Вашингтоне — в городе, носящем имя отца амери-

¹ Федеральное правительство ведает общегосударственными делами всех Соединенных Штатов.

канской свободы, — любой мировой судья может зако-
вать в кандалы первого встречного негра и бросить его
в тюрьму; для этого не требуется никакого преступления
со стороны чернокожего. Судья говорит: «Я склонен ду-
мать, что это беглый негр», — и сажает его под замок.
Общественное мнение после этого дает представителю
закона право поместить объявление о негре в газетах,
предлагая его владельцу явиться и затребовать его, ибо
в противном случае негр будет продан для покрытия тю-
ремных издержек. Но допустим, это вольный негр и
у него нет хозяина; тогда естественно предположить, что
его выпустят на свободу. Так нет же! *Его продают, чтобы
вознаградить тюремщика.* И это проделывалось десятки,
сотни раз. Негр не может доказать, что он свободен;
у него нет ни советчика, ни возможности получить какую-
либо помощь; по его делу не ведется никакого дознания
и не назначается никакого расследования. Он — вольный
человек, который, возможно, многие годы пробыл в раб-
стве и купил себе свободу, — брошен теперь в тюрьму
без суда, не совершив никакого преступления или види-
мости преступления, а затем будет продан для оплаты
тюремных издержек. Это кажется невероятным даже
в Америке, но таков закон.

К общественному мнению обращаются в случаях, по-
добных следующему, — в газетных заголовках они назы-
ваются так:

«ИНТЕРЕСНОЕ СУДЕБНОЕ ДЕЛО»

«В настоящее время верховный суд рассматривает ин-
тересное дело, возбужденное на основе следующих фак-
тов. Один джентльмен, проживающий в штате Мэриленд,
предоставил пожилой чете невольников возможность
жить несколько лет в условиях фактической, но не узаконенной
свободы. За это время у них родилась дочь,
которая росла также на свободе; потом она вышла за-
муж за вольного негра и переехала вместе с ним в Пен-
сильванию. У них родилось несколько детей, и никто их
не трогал до тех пор, пока не умер прежний владелец;
тогда его наследник попытался вернуть их, но судья, пе-
ред которым они предстали, решил, что он не имеет над
ними юридической власти. *Владелец ночью схватил жен-
щину и ее детей и увез их в Мэриленд.*»

«Награда за поимку негров», «награда за поимку не-
гров», «награда за поимку негров» гласят крупные буквы

объявлений, которыми пестрят длинные колонки переполненных материалом газет. Гравюры на дереве, изображающие беглого негра, закованного в кандалы, скорчившегося перед грубым преследователем в высоких сапогах, который поймал его и держит за горло, приятно разнообразят милый текст. Передовая статья протестует против «отвратительной дьявольской доктрины аболиционизма, противной всем законам бога и природы». Чувствительная мама, которая, сидя на своей прохладной веранде, с улыбкой одобрения читает в газете эти веселые строки, успокаивает малыша, цепляющегося за ее юбку, обещая подарить ему «кнут, чтобы хлестать негрятят». — Но ведь негры, и маленькие, и большие, находятся под защитой общественного мнения!

Давайте подвергнем общественное мнение еще одной проверке, которая важна в трех отношениях: во-первых, она покажет, до чего робеют перед общественным мнением рабовладельцы, деликатно описывая беглых негров в газетах с большим тиражом; во-вторых, покажет, как довольны своей судьбой невольники и как редко они убегают; в-третьих, продемонстрирует, насколько чужд неграм страх, что их исполосуют, искалечат или как-либо иначе жестоко изуродуют,—если верить не «лживым аболиционистам», а их собственным правдивым хозяевам.

Ниже приводится несколько образцов газетных объявлений. Самое давнишнее из них появилось всего четыре года тому назад, а другие того же типа каждый день во множестве публикуются и поныне.

«Сбежала негритянка Каролина. Носит ошейник с отогнутым книзу зубцом».

«Сбежала чернокожая Бетси. К правой ноге прикован железный брусок».

«Сбежал негр Мануэль. Неоднократно клеймен».

«Сбежала негритянка Фанни. На шее железный обруч».

«Сбежал негритенок примерно двенадцати лет. Носит собачий ошейник из цепи с надписью «де Лампер».

«Сбежал негр Хоун. На левой ноге железное кольцо. Сбежала также Грайз, его жена, с кольцом и цепью на левой ноге».

«Сбежал негритенок по имени Джеймс. На мальчишке в момент побега были кандалы».

«Посажен в тюрьму негр, назвавшийся Джоном. На правой ноге чугунное ядро весом в четыре-пять фунтов».

«Задержана полицией молодая негритянка Майра. Следы кнута на теле и цепи на ногах».

«Сбежала негритянка с двумя детьми. За несколько дней до побега я прижег её каленым железом левую щеку. Пытался выжечь букву «М.».

«Сбежал негр Генри; левый глаз выбит, несколько шрамов от ножевых ран на левом боку и много следов от ударов хлыста».

«Сто долларов в награду за негра Помпея, 40 лет от роду. На левой щеке клеймо».

«Посажен в тюрьму негр. Нет пальцев на левой ноге».

«Сбежала негритянка по имени Рахиль. На ногах целы только большие пальцы».

«Сбежал Сэм. Незадолго до побега ему прострелили ладонь; также несколько пулевых ран в боку и в левой руке».

«Сбежал мой негр Деннис. У названного негра прострелено левое предплечье, в результате чего парализована левая рука».

«Сбежал мой негр по имени Саймон. Выстрелами был серьезно ранен в спину и правую руку».

«Сбежал негр по имени Артур. Поперек груди и на обеих руках — широкие шрамы от удара ножом; любит рассуждать о доброте господней».

«Двадцать пять долларов в награду за моего раба Исаака. На лбу шрам от удара, на спине — от револьверной пули».

«Сбежала девочка-негритянка по имени Мэри. Над глазом — небольшой шрам; недостает многих зубов; на щеке и на лбу выжжена буква «А.».

«Сбежал негр Бен. На правой руке большой и указательный пальцы прошлой осенью были повреждены выстрелом. На бедрах и спине по широкому рубцу».

«Посажен в тюрьму мулат по имени Том. На правой щеке шрам; лицо как будто обожжено порохом».

«Сбежал негр по имени Нэд. Три пальца руки скрючены в результате пореза. Шею сзади полукругом охватывает рубец от ножевой раны».

«Посажен в тюрьму негр. Называет себя Джошиа. На спине многочисленные следы кнута. На бедрах и

ляжках в трех-четыре-х местах выжжено клеймо «Дж. М.». Край правого уха откушен или отрезан».

«Пятьдесят долларов в награду за моего раба Эдварда. В углу рта — рубец, два пореза на руке и подмышкой, и на руке выжжена буква «Е.».

«Сбежал негр-итенок Элли. На руке шрам от укуса собаки».

«С плантации Джеймса Серджетта сбежали следующие негры: Рендал — с оборванным ухом; Боб — кривой на один глаз; Кентукки Том — со сломанной челюстью».

«Сбежал Энтони. Одно ухо отрезано, и левая рука поранена топором».

«Пятьдесят долларов награды за негра Джима Блейк. От обеих ушей отрезано по куску, и средний палец левой руки отсечен до второго сустава».

«Сбежала негр-итянка по имени Мария. На щеке шрам от пореза. Несколько шрамов на спине».

«Сбежала молодая мулатка Мэри. Следы пореза на левой руке, шрам на левом плече, нехватает двух верхних зубов».

Для пояснения этой последней из описанных примет я должен, пожалуй, сказать, что среди прочих благ, которыми общественное мнение наделило негров, существует широко применяемая практика безжалостно выбивать им зубы. Заставлять их носить железные ошейники днем и ночью и травить их собаками — все это приемы, настолько обычные, что о них почти не стоит и упоминать.

«Сбежал мой раб Фаунтейн. В ушах дырки, шрам на правой стороне лба; на ногах, сзади, следы пулевых ранений; на спине рубцы от кнута».

«Двести пятьдесят долларов награды за моего негра Джима. На правом бедре глубокий шрам. Пуля вошла с внешней стороны ноги между тазобедренным и коленным суставами».

«Посажен в тюрьму Джон. Нехватает левого уха».

«Задержан негр. Многочисленные шрамы на лице и на теле; левое ухо откушено».

«Сбежала девушка-негр-итянка по имени Мэри. Рубец на щеке, кончик одного пальца на ноге отрезан».

«Сбежала моя мулатка Джуди. Правая рука сломана».

«Сбежал мой негр Леви. На левой руке след от ожога: кажется, нехватает сустава на указательном пальце».

«Сбежал негр по имени Вашингтон. Нет среднего пальца и одного сустава на мизинце».

«Двадцать пять долларов награды за моего негра Джона. Откушен кончик носа».

«Двадцать пять долларов награды за негрityнку-невольницу Сэлли. Ходит так, *будто* у нее переломан хребет».

«Сбежал Джон Деннис. С маленькой меткой на ухе».

«Сбежал негритенок Джек. Из левого уха вырезан кусочек».

«Сбежал негр по имени Айвори. От краешка каждого уха отрезано по кусочку».

Кстати об ушах могу заметить, что один известный аболиционист в Нью-Йорке получил однажды в обычном почтовом конверте ухо негра, отрезанное под самый корень. Оно было прислано ему свободным и независимым джентльменом, по чьему распоряжению оно было отрезано, — вместе с вежливой просьбой присовокупить данный экземпляр к своей «коллекции».

Я мог бы пополнить этот перечень несчетным множеством переломанных рук и ног, ран на теле, выбитых зубов, исполосованных спин, собачьих укусов и меток каленым железом; но поскольку моим читателям уже в достаточной мере противно и тошно от всего этого, я перейду к другой стороне проблемы.

При помощи этих объявлений, аналогичный подбор которых можно было бы сделать за каждый год, каждый месяц, неделю и день и которые преспокойно читаются в семейном кругу, как вещи вполне естественные, составляющие часть повседневных новостей и сплетен, — можно показать, сколь много пользы приносит невольникам общественное мнение и сколь нежно оно к ним относится. Но, пожалуй, следовало бы спросить, насколько рабовладельцы и тот класс общества, к которому они принадлежат, считаются с общественным мнением в своем обращении не с невольниками, а друг с другом; насколько они привыкли обуздывать свои страсти; как они ведут себя в своей среде; свирепы они или кротки, грубы ли, кровожадны и жестоки их общественные нравы, или на них лежит отпечаток цивилизации и утонченности.

Чтобы при изучении этого вопроса не основываться на односторонних свидетельствах, исходящих от аболи-

сионистов, я снова обращаюсь к их собственным газетам и ограничусь на сей раз подборкой материалов из статей, появлявшихся в них ежедневно на протяжении моего пребывания в Америке и касавшихся происшествий, которые случились в то время, когда я был там. Курсив в тексте этих отрывков, как и предыдущих, — мой собственный.

Не все эти случаи, как вы увидите, имели место на территории тех штатов, которые официально считаются рабовладельческими, — хотя многие из них, и притом самые ужасные, произошли и происходят именно там, — но непосредственная близость места действия от тех районов, где рабство узаконено, и большое сходство между этими злодеяниями и описанными выше заставляют справедливо предполагать, что характер действующих лиц сформировался в рабовладельческих районах и огрубел под влиянием рабовладельческих нравов.

«УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ»

«Из заметки, появившейся в газете «Саутпорт Телеграф» (штат Висконсин), нам стало известно, что достопочтенный Чарльз К. П. Арндт, член Совета от округа Браун, был убит наповал *в зале заседания Совета Джеймсом Р. Виньярдом, членом Совета от округа Грант.* Дело возникло на почве выдвижения кандидатуры на пост шерифа округа Грант. Была выдвинута кандидатура мистера И. С. Бейкера, поддержанная мистером Арндтом. Против этой кандидатуры выступил Виньярд, стремившийся добиться указанного назначения для своего брата. В ходе спора покойный сделал несколько замечаний, которые Виньярд объявил лживыми, причем сделал это в резких и оскорбительных выражениях, задевавших личности; мистер А. ничего не ответил на это. Когда собрание закончилось, мистер А. подошел к Виньярду и попросил его взять свои слова обратно, что тот отказался сделать, повторив оскорбительные выражения. Тогда Арндт ударил Виньярда, который, отступив на шаг, выхватил револьвер и застрелил его наповал.

Такой исход дела, видимо, был спровоцирован Виньярдом, который решил во что бы то ни стало провалить кандидатуру Бейкера и, потерпев неудачу, обратил свой гнев и мщение против несчастного Арндта».

«Все население штата Висконсин глубоко возмущено убийством Ч. К. П. Арндта в зале Законодательного совета штата. В различных округах Висконсина состоялись собрания, на которых была подвергнута осуждению практика тайного ношения оружия в помещении Законодательного совета штата. Мы читали сообщение об исключении из состава Совета Джейса Р. Виньярда, совершившего это кровавое деяние, и были поражены, услышав, что после исключения Виньярда теми, кто видел, как он убил мистера Арндта в присутствии его престарелого отца, приехавшего погостить у сына и отнюдь не предполагавшего стать свидетелем его насильственной смерти, *судья Данн выпустил убийцу на поруки*. Агентство Майнерс Фри Пресс говорит *со справедливым негодованием* об оскорбленных чувствах населения Висконсина. Виньярд находился на расстоянии вытянутой руки от Арндта, когда прозвучал смертельный выстрел. На таком близком расстоянии Виньярд вполне мог бы лишь ранить Арндта, но он предпочел убить его».

«УБИЙСТВО»

«Из письма, помещенного 14-го числа в сент-луисской газете, нам стало известно об ужасном злодеянии, совершенном в Берлингтоне, штат Айова. Некий м-р Бриджмен поспорил с жителем того же города м-ром Россом; зять этого последнего, вооружась револьвером системы Кольт, встретил м-ра Б. на улице и *разрядил в него всю обойму, причем все пять пуль попали в цель*. М-р Б., хотя и смертельно раненный, выстрелил в свою очередь и уложил Росса на месте».

«УЖАСНАЯ СМЕРТЬ РОБЕРТА ПОТТЕРА»

«Из Каддо газетт» от 12-го сего месяца мы узнали о страшной смерти Роберта Поттера... Находясь у себя дома, он подвергся нападению своего врага по фамилии Роз. Он вскочил с постели, схватил ружье и в одном белье выбежал из дома. Он бежал с такой быстротой, что почти на двести ярдов опередил своих преследователей, но попал в непроходимые заросли и был схвачен. Роз сказал Поттеру, что намерен быть великодушным и дать ему возможность спастись. Он предложил Поттеру

бежать и пообещал не стрелять по нем, пока тот не пробежит определенного расстояния. По команде Поттер устремился вперед и успел достичь озера, прежде чем раздался выстрел. Первым его побуждением было прыгнуть в воду и нырнуть, что он и сделал. Роз, гнавшийся за ним по пятам, расставил на берегу своих людей, готовых стрелять в Поттера, как только он выплывет. Через несколько минут он вынырнул, чтобы перевести дух, и едва голова его показалась над водой, как она была буквально изрешечена пулями. Он пошел ко дну и больше не всплыл!»

«УБИЙСТВО В АРКАНЗАСЕ»

«Как нам стало известно, несколько дней тому назад в «Сенека Нейшн» произошло серьезное столкновение между мистером Луз, агентом смешанной компании Сенека, Квапо и Шони, и мистером Джеймсом Гиллеспай, представителем торговой фирмы «Томас Дж. Аллисон и К^о» из Мейсвилля, округ Бентон, штат Арканзас; в этой схватке Гиллеспай был зарезан охотничьим ножом. Между этими людьми в течение некоторого времени существовали натянутые отношения. Говорят, что майор Гиллеспай замахнулся на противника тростью. За этим последовала серьезная стычка, во время которой Гиллеспай выстрелил дважды, а Луз — один раз. Затем Луз заколол Гиллеспая охотничьим ножом — этим разящим без промаха оружием. Многие сожалеют о смерти майора Г., ибо он был либерально настроенным и энергичным человеком. Поскольку о вышеизложенном было сообщено в печати, нам стало известно, что майор Аллисон заявил некоторым гражданам нашего города, будто м-р Луз первым нанес удар. Мы воздерживаемся от сообщения каких-либо подробностей, так как по этому делу будет вестись судебное следствие».

«ГНУСНОЕ ЗЛОДЕЙСТВО»

«Пароход «Темза», только что вернувшийся из плавания по Миссури, привез нам извещение, согласно которому предлагается вознаграждение в пятьсот долларов за поимку человека, покушавшегося на жизнь Лилберна У. Беггс, бывшего губернатора этого штата, в городе Индепенденс, вечером 6-го с. м. Губернатор Беггс, гово-

рится в письменном сообщении, был не убит, а смертельно ранен.

Эти строки уже были написаны, когда мы получили записку от клерка с «Темзы», в которой сообщаются следующие подробности. В пятницу, 6-го с. м., какой-то злодей выстрелил в губернатора Беггса, когда он сидел в одной из комнат своего дома в г. Индепенденс. Его сын, мальчик, услышав выстрел, вбежал в комнату и увидел губернатора, который сидел на стуле, запрокинув голову; нижняя челюсть его отвисла; поняв, что отец стал жертвой преступления, сын поднял тревогу. В саду, под окном, были обнаружены следы ног и был найден револьвер, по всей видимости разряженный и брошенный стрелявшим из него мерзавцем. Три выстрела крупной дробью попали в цель: один в рот, другой в мозг и третий, вероятно, тоже в мозг или куда-то поблизости; дробь застряла в затылке. Утром 7-го губернатор был еще жив, но друзья не надеялись на его выздоровление, а врачи питали лишь слабую надежду.

В этом преступлении подозревают одного человека, который в настоящее время, вероятно, уже находится в руках шерифа.

Револьвер убийцы — один из пары, которая была украдена за несколько дней до преступления у одного булочника в Индепенденс, и у судебных властей имеется описание второго револьвера».

«ПРОИСШЕСТВИЕ»

«Прискорбное столкновение произошло в пятницу вечером на ул. Чартрз; в результате его один из наших наиболее уважаемых граждан был опасно ранен кинжалом в живот. Из вчерашнего номера газеты «Пчела» (Новый Орлеан) нам стали известны следующие подробности. В прошлый понедельник во французской части газеты была напечатана статья с упреками по адресу артиллерийского батальона за то, что в воскресенье утром он открыл стрельбу из пушек, отвечая на выстрелы, раздавшиеся с «Онтарио» и «Вудбери»; это вызвало большой переполох в семьях тех, кто всю ночь охранял спокойствие города. Майор К. Гелли, командир батальона, почувствовал себя обиженным, пришел в редакцию и потребовал, чтобы ему сообщили имя автора статьи; ему назвали м-ра П. Арпина, которого в это время

не было на месте. После этого между майором и одним из владельцев газеты произошел резкий разговор, закончившийся вызовом на дуэль; друзья обоих споривших пытались уладить дело, но безуспешно. В пятницу вечером, около семи часов, майор Гелли встретил м-ра П. Арпина на ул. Чартрз и подошел к нему.

— Вы мистер Арпин?

— Да, сэр.

— В таком случае я должен сказать вам, что вы... (за сим последовал соответствующий эпитет).

— Я припомню вам ваши слова, сэр.

— А я сказал, что обломаю свою трость о вашу спину.

— Мне это известно, но пока что я еще не почувствовал удара.

Услышав эти слова, майор Гелли, державший в руках трость, ударил ею м-ра Арпина по лицу, а тот выхватил из кармана кинжал и всадил его майору Гелли в живот.

Опасаются, что рана смертельна. *Насколько нам известно, м-р Арпин дал обязательство предстать перед уголовным судом для ответа по предъявляемому ему обвинению.*

«СОРЫ В ШТАТЕ МИССИСИПИ»

«27-го прошлого месяца близ Карфагена, округ Лик, штат Миссисипи, между Джеймсом Коттингем и Джоном Уилберн вспыхнула ссора, во время которой первый выстрелил в последнего, причем ранил его настолько серьезно, что нет никакой надежды на выздоровление. 2-го текущего месяца в Карфагене произошла ссора между А. К. Шэрки и Джорджем Гофф, в результате которой последний был ранен выстрелом из револьвера; рана считается смертельной. Шэрки отдался в руки властей, *но затем передумал и сбежал!*»

«СТЫЧКА»

«В Спарте несколько дней тому назад произошла стычка между барменом одного отеля и человеком по имени Бэри. Повидимому, Бэри стал буяннить: *тогда бармен, решив поддержать порядок, пригрозил Бэри, что пристрелит его*, после чего Бэри выхватил пистолет и застрелил бармена. Согласно последним сведениям он еще жив, но надежда на его выздоровление слабая»

«ДУЭЛЬ»

«Клерк парохода «Трибюн» сообщил нам, что во вторник произошла еще одна дуэль — между м-ром Роббинс, банковским служащим в Виксбурге, и м-ром Фолл, редактором виксбургской газеты «Часовой». По уговору каждая сторона имела по шести пистолетов, которые *они должны были разрядить друг в друга все подряд после команды «Огонь!»*. Фолл выстрелил из двух пистолетов безрезультатно. М-р Роббинс первым же выстрелом попал Фоллу в бедро, после чего тот упал и не был в состоянии продолжать поединок».

«ССОРА В ОКРУГЕ КЛАРК»

«В округе Кларк (штат Миссури), близ Ватерлоо, во вторник, 19-го прошлого месяца, имел место *прискорбный случай*. Два компаньона, мистеры Мак Кейн и Мак Алистер, занимавшиеся перегонкой спирта, поспорили о размерах общего имущества; м-р Мак Алистер приобрел при распродаже с торгов, производившейся шерифом, семь бочонков виски, принадлежавших ранее Мак Кейну, по цене один доллар за бочонок. Когда он пытался взять их, произошла ссора, в результате которой м-р Мак Кейн застрелил м-ра Мак Алистера. Мак Кейн немедленно бежал и *по последним сведениям еще не схвачен*.

Этот прискорбный случай вызвал много толков, так как у обоих были большие семьи и оба занимали солидное положение в обществе».

Я процитирую еще лишь одну статейку, которая своей чудовищной нелепостью несколько разрядит гнетущее впечатление, остающееся от этих зверских деяний.

«СОВЕТ ЧЕСТИ»

«Мы только что услышали подробности о дуэли, произошедшей во вторник на острове Шестой мили между двумя родовитыми юношами нашего города — Сэмюелом Терстоном, 15 лет, и Уильямом Хайн, 13 лет. Их сопровождали молодые джентльмены того же возраста. Оружием служила пара наилучших ружей Диксона; расстояние между противниками равнялось тридцати ярдам.

Каждый выстрелил по разу, не причинив никакого вреда другой стороне, если не считать того, что пуля из ружья Терстона пробила шляпу Хайна. *В результате вмешательства Совета Чести* вызов был взят обратно, и спор дружески улажен».

Пусть читатель представит себе этот Совет Чести, который дружески уладил спор между двумя мальчишками, — в любой другой части света их дружески прикрутили бы к двум скамейкам и хорошенько выпороли бы березовыми розгами, — и он, несомненно, сам ясно почувствует уморительный характер этого суда, вызывающего у меня смех, стоит мне его себе представить.

И вот я обращаюсь ко всем разумным людям, ко всем, кто наделен самым обычным здравым смыслом и самой обычной здоровой человечностью, ко всем трезвым рассудительным существам, без различия взглядов и убеждений, и спрашиваю: могут ли они пред лицом этих отвратительных доказательств состояния общественных нравов в рабовладельческих районах Америки и по соседству, — могут ли они еще сомневаться относительно истинного положения чернокожих невольников и может ли хоть на миг примириться их совесть с этой системой или с любой из характеризующих ее страшных черт? Могут ли они назвать неправдоподобным даже самый вопиющий рассказ о жестокостях и зверствах, когда стоит им обратиться к прессе и пробежать глазами ее страницы, как они прочтут о поступках тех людей, которые являются господами негров, — поступках, ими совершенных и ими же описанных?

Разве мы не знаем, что наиболее уродливые и отвратительные черты рабства являются одновременно причиной и следствием беспардонного самоуправства этих рожденных свободными преступников? Разве нам неизвестно, что человек, родившийся и выросший среди несправедливостей рабовладельческой системы, с детства привыкший видеть, как мужья, подчиняясь слову команды, должны пороть своих жен; как женщины, преодолевая стыд, вынуждены сами подымать свое платье, чтобы мужчины могли сильнее пороть их розгами; как грубые надсмотрщики преследуют и мучают их чуть не до самых родов и как они становятся матерями там же, где рабо-

тают, под занесенным над ними кнутом; кто сам читал в детстве и видел, как читали его невинные сестры приемы сбежавших мужчин и женщин и описания их изуродованных тел, — описания, которые публикуются рядом с описью скота на той или иной ферме или же на выставке животных, — разве нам не известно, что такой человек при всякой вспышке гнева будет превращаться в жестокого дикаря? Разве нам не известно, что раз он подлый трус у себя дома, где он гордо шествует среди съезживающихся от ужаса невольников и невольниц, вооруженный тяжелым кнутом, он будет подлым трусом и вне дома и, пряча на груди оружие труса, будет во время ссоры стрелять в людей и закалывать их кинжалом? Но даже если наш разум не научил нас этому и многому другому, если мы такие идиоты, что закрываем глаза на прекрасную систему воспитания, которая выращивает таких людей, то разве не должны мы понимать, что те, кто кинжалом и пистолетом расправляется с равными себе в залах законодательных органов, в конторах и на рыночных площадях и в разных других местах, где люди занимаются мирным трудом, должны быть беспощадными и бессердечными тиранами в отношении своих подчиненных, пусть даже не рабов, а вольных слуг?

Что?! Мы будем обличать невежественное ирландское крестьянство, но смягчать краски, когда речь идет об этих американских плантаторах? Мы будем клеймить позором жестокость тех, кто подрезает сухожилия у скота, но щадить этих поборников свободы, которые прорезают метки в ушах людей, вырезают остроумные девизы на корчащемся от боли теле, учатся писать перьями из раскаленного железа на человеческом лице, — тех, кто изощряет свою фантазию, чтобы придумать ливреи увечий, которые их рабы будут носить всю жизнь и унесут с собой в могилу; кто ломает кости живым, как это делала солдатня, осмеявшая и убившая спасителя мира, и превращает беззащитных людей в мишень для стрельбы? Неужели мы будем хныкать, слушая легенды о пытках, которым язычники-индейцы подвергали друг друга, и с улыбкой наблюдать жестокости, чинимые их братьями христианами? Неужели, пока все это существует, мы будем торжествовать над поверженными и вымирающими остатками этой величавой расы и радоваться тому, что белые захватили их обширные владения? На мой взгляд лучше бы восста-

новить леса и индейские деревни; пусть вместо американских звезд и полос развеивается по ветру несколько несчастных перьев; пусть вигвамы станут на месте улиц и площадей — и если даже воздух огласит песнь смерти десятков горделивых воинов, она будет звучать, как музыка, по сравнению с воплем одного несчастного раба.

Пусть о том, что всегда стоит у нас перед глазами, о том, что изо дня в день оказывает воздействие на наш национальный характер, будет сказана чистая правда; и не будем трусливо ходить вокруг да около, намекая на испанцев и свирепых итальянцев. Когда англичане вытаскают ножи во время ссоры, пусть будет сказано во всеуслышание: «Мы обязаны этим американскому рабству. Вот они, орудия Свободы. Такими клинками и остриями Свобода в Республике обтесывает и кромсает своих рабов; а за неимением таковых под рукой ее сыны используют эти орудия еще лучше, обращая их друг против друга».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не раз в этой книге мне бывало довольно трудно удержаться от соблазна навязать читателю собственные заключения и выводы; но я предпочел, чтобы читатели сами составили себе суждение на основании тех фактов, которые я им изложил. С самого начала единственной моей целью было честно вести их за собой, куда бы я ни шел, и эту задачу я выполнил.

Но да простится мне желание, прежде чем я доведу эту книгу до конца, выразить в нескольких словах свое мнение об общем характере американского народа и общем характере американской социальной системы, какими они кажутся глазу иностранца.

Американцы по натуре откровенны, храбры, сердечны, гостеприимны и дружелюбны. Культура и утонченность, кажется, лишь укрепляют душевную доброту и страстный энтузиазм, и именно эти качества, удивительно в них развитые, делают образованного американца самым нежным и самым благородным другом. Никогда и никто мне так не нравился, как эти люди; никогда и ни к кому я не проникался так быстро и охотно полным доверием и уважением; никогда больше я не смогу приобрести за полгода столько друзей, которых, мне кажется, я почитаю уже полжизни.

Я глубоко убежден, что названные качества присущи всему народу в целом. Но что в массах они, к сожалению, чахнут и загнивают; что тут действуют тлетворные влияния и надежда на преодоление их здоровой природой пока слаба, — все это правда, о которой нельзя не сказать.

Каждой нации свойственно подчеркивать свои недостатки и даже преувеличивать их в доказательство своей добродетели или мудрости. Один из серьезных пороков американского общественного мнения и плодотворный родоначальник вывода нечислимых зол — это всеобщее недоверие. И тем не менее американец склонен гордиться этой чертой, даже если он достаточно беспристрастен, чтобы понять ее разрушительное влияние; часто, даже вопреки собственному рассудку, он указывает на эту черту, как на доказательство глубины и остроты ума американского народа и его особой проницательности и независимости.

«Вы вносите зависть и недоверие во все области общественной жизни, — говорит иностранец. — Вы отстраняете достойных людей от участия в ваших законодательных органах, и это привело к созданию такой категории кандидатов на выборные должности, которые каждым своим поступком порочат ваши установления и выбор вашего народа. Это недоверие сделало вас такими неустойчивыми и подверженными всяким переменам, что ваше непостоянство вошло в поговорку: едва успев прочно поставить на пьедестал какого-нибудь идола, вы наверняка стащите его оттуда и разобьете вдребезги; и все потому, что лишь только вы наградили благодетеля или слугу народа, вы сразу перестаете доверять ему — по той лишь причине, что он *награжден*, — и тотчас начинаете допытываться, не были ли вы слишком великодушны в своей оценке, а он — недостойн награды. Каждый, кто достиг у вас высокого поста, начиная с президента, может считать свое избрание началом своего падения, ибо любая напечатанная ложь, вышедшая из-под пера любого отъявленного негодяя, тотчас находит благодарную почву в вашем недоверии и принимается за чистую монету, хотя бы она прямо противоречила характеру и всему образу поведения человека, о котором идет речь. Вы будете напрягать все силы, чтобы поймать комара, если речь идет о доверии к человеку и вере в него, сколь бы ни были они оправданы и заслужены, — но вы проглотите целый караван верблюдов, нагруженных недостойными сомнениями и низкими подозрениями. Считаете ли вы, что это хорошо и что это может облагородить характер ваших правителей или управляемых?»

Ответ неизменно один и тот же: «У нас, знаете ли,

свобода мнений. Каждый думает сам за себя, и нас не так-то легко провести. Вот отчего наш народ стал подозрительным».

Другая выдающаяся черта американцев: у них в большом почете умение ловко обдeldывать дела; этим умением позолочены многие мошенничества и грубейшие злоупотребления доверием, многие растраты, произведенные как общественными деятелями, так и частными лицами, и оно дает возможность многим плутам, которых стоило бы вздернуть на виселицу, держать высоко голову наравне с лучшими людьми; однако эта слабость к ловкачам не прошла даром для американцев, ибо за несколько лет «ловкачество» нанесло такой ущерб общественному доверию и так подорвало общественные ресурсы, что никакая «скучная» честность даже второпях не могла бы натворить ничего подобного за целое столетие. Нарушение условий сделки, банкротство или удачное мошенничество расценивается не с точки зрения золотого правила «поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой», а в зависимости от того, насколько ловко это было проделано. Помните, оба раза, когда мы проезжали мимо злополучного Каира на Миссисипи, я замечал, что такие грандиозные обманы должны иметь дурные последствия, так как, будучи разоблачены, они порождают недоверие за границей и отбивают у иностранцев охоту вкладывать в Америке свои капиталы; однако мне дали понять, что это очень ловкая затея, которая принесла кучу денег, а самое ловкое — что за границей быстро забывают подобные трюки и люди пускаются в новые спекуляции так же свободно, как и раньше. Мне пришлось раз сто вести следующий диалог:

— Ну разве не постыдно, что такой человек, как имя рек, приобретает крупное состояние самыми бесчестными и гнусными способами и, несмотря на все совершенные им преступления, его терпят и поощряют ваши граждане? Ведь он же нарушает общественный порядок!

— Да, сэр.

— Ведь он же общепризнанный лжец!

— Да, сэр.

— Ведь его били, секли, пороли!

— Да, сэр.

— И это совершенно бесчестная, недостойная и распутная личность!

— Да, сэ.

— Ради всего святого, в чем же тогда его заслуги?

— Видите ли, сэ, он ловкий человек.

Точно так же всевозможные неразумные и бестактные обычаи относят за счет делового склада американцев, хотя, как это ни странно, чужеземца серьезно упрекнуто, если он сочтет американцев нацией дельцов. Деловым складом характера объясняют и неуютную привычку, столь распространенную в маленьких городках, где семейные люди живут в гостиницах, не имея собственного очага, и за целый день — с раннего утра и до позднего вечера — встречаются лишь во время завтрака или обеда, наспех проглатываемого в присутствии посторонних. Деловым складом объясняется и то, что американская литература всегда будет беззащитна: «Ибо мы деловой народ и не нуждаемся в поэзии», хотя, кстати, мы *завяляем*, что гордимся своими поэтами; а в результате здоровые развлечения, веселое времяпрепровождение и благотворные склонности должны уступить место грубым, утилитарным радостям деловой жизни. от то нттомдонбсе е е
ОМН Эти три характерные черты американского народа отчетливо проявляются решительно во всем и бросаются в глаза иностранцу. Но эта гнилая поросль пустила в Америке и более глубокие корни, — она поражает самые основы ее жизни через безнравственную американскую прессу.

Можно построить сколько угодно школ на Востоке, Западе, Севере и Юге; можно обучить в них десятки и сотни тысяч учеников и вырастить столько же учителей; можно насаждать трезвость; можно достигнуть того, что колледжи будут процветать и церкви — ломиться от прихожан и просвещенное знание во всех прочих видах будет гигантскими шагами итти по стране, — но до тех пор, пока американские газеты будут представлять собой такое же или почти такое же гнусное явление, как сейчас, нет никакой надежды на сколько-нибудь значительное повышение морального уровня американского народа. С каждым годом страна должна и будет итти вспять, с каждым годом будет понижаться общественное сознание; с каждым годом конгресс и сенат будут все меньше значить в глазах всех порядочных людей, и вырождающееся потомство своими дурными делами будет все больше позорить память великих отцов революции.

Вряд ли нужно говорить читателю, что среди массы газет, выходящих в Соединенных Штатах, есть несколько с хорошей репутацией, которым можно верить. От встреч с высоко образованными джентльменами, имеющими отношение к такого рода изданиям, я получил лишь удовольствие и пользу. Но имя таким газетам «Горсточка», тогда как имя другим — «Легион», и влияние хороших изданий не в силах противодействовать смертельному яду, распространяемому дурными.

Американские образованные круги, люди хорошо осведомленные и придерживающиеся умеренных взглядов, представители ученых профессий, те, кто принадлежит к адвокатскому сословию, и те, кто занимает судейские места, — все единодушны, — как и следовало бы ожидать, — в своей оценке постыдного характера этих газет. Иногда утверждают — не назову это странным, ибо естественно искать извинения для такого позора, — что влияние их не столь велико, как это кажется приезжему. Прошу простить, но должен заметить, что я не вижу оснований для такого утверждения, так как все факты и обстоятельства заставляют прийти к прямо противоположному выводу.

Когда люди, обладающие известными достоинствами ума или характера, смогут завоевать в Америке видное общественное положение, не пресмыкаясь и не раболепствуя перед этим чудовищем порока; когда выдающиеся личные качества того или иного гражданина перестанут быть для этой гадины объектом нападков; когда доверие общества к кому бы то ни было не будет подрываться ее наветами и узы, основанные на общественной порядочности и чести, будут пользоваться хоть малейшим уважением; когда кто-либо в этой Свободной Стране будет обладать свободой выражать собственное мнение и считать, что он может думать сам за себя и высказываться сам за себя без унижительной оглядки на цензуру, которую он в глубине души бесконечно ненавидит и презирает за ее безмерное невежество и низкую бесчестность; когда те, кто наиболее остро ощущает гнусность этой гадины и страдает от той тени, какую она бросает на весь народ, и клянет ее в частных беседах, осмелятся наступить на нее ногой и открыто, на глазах у всех, раздавить ее, — тогда я поверю, что влияние ее уменьшается, а люди вновь обретают свой разум. Но куда дурной глаз этой печати проникает в каждый дом и она умудряется прило-

жить свою грязную руку к каждому назначению на государственный пост, начиная от поста президента и кончая должностью почтальона; пока подлая клевета является ее единственным орудием, а сама она остается единственной духовной пищей для огромной массы людей, читающих одни только газеты, да и то лишь тогда, когда это чтиво им по вкусу, — до тех пор на всей стране будет лежать этот позор и до тех пор причиняемое ее печатью зло будет явственно видно во всей жизни республики.

Те, кто привык к крупнейшим английским газетам или к почтенным газетам европейского континента, те, кто привык видеть отпечатанным на бумаге нечто совсем иное, не сумеют составить себе хотя бы приблизительное представление об этой страшной машине американской прессы без наглядных примеров, приводить которые здесь у меня нет ни места, ни желания. Но если кто-либо пожелает найти подтверждение моим словам, пусть он обратится в любое учреждение в Лондоне, где можно найти отдельные номера этих изданий, и на основании их составит об этом собственное мнение.

Для американского народа в целом несомненно было бы куда лучше, если бы американцы меньше любили реальное и немного больше — идеальное. Было бы хорошо, если б в них больше поощряли беззаботность и веселье и шире прививали бы им вкус к тому, что прекрасно, хотя и не приносит значительной и непосредственной выгоды. Здесь, мне кажется, может быть выдвинуто обычное возражение — «Мы — молодая страна», — при помощи которого так часто пытаются извинить недостатки, не имеющие никакого оправдания, ибо по существу здесь мы имеем дело лишь с отпочкованием старой страны; — но все же я надеюсь еще услышать о существовании в Соединенных Штатах каких-то других национальных развлечений, помимо газетной политики.

Американцы, безусловно, не обладают юмором, и у меня создалось впечатление, что они от природы мрачны и угрюмы. По меткости и какой-то своеобразной непреложности суждений первое место бесспорно принадлежит янки, то есть жителями Новой Англии; они отличаются также и другими качествами, говорящими об их уме. Но во время моего путешествия по стране, когда я попадал в места, удаленные от больших городов, — как уже отмечалось в предыдущих главах этой книги, — меня поло-

жительно угнетала преобладающая всюду серьезность и меланхолическая деловитость; эта атмосфера была настолько повсеместной и неизменной, что мне казалось, будто в каждом новом городе я встречаю тех же людей, которых оставил в предыдущем. Мне кажется, те недостатки, которыми отмечены национальные нравы, следует в значительной мере отнести за счет этой атмосферы: это она породила тупую угрюмую приверженность ко всему грубо материальному и привела к тому, что все прелести жизни отбрасываются, как не стоящие внимания. Вашингтон, который всегда был крайне педантичен и точен в вопросах этикета, несомненно еще в свое время обратил внимание на склонность американцев к такого рода заблуждению и делал все возможное, чтобы исправить это.

Республиканский строй несомненно укрепляет в народе чувство собственного достоинства и равенства, но в Америке путешественник должен всегда помнить о его наличии, чтобы не слишком поспешно негодовать на близость той категории людей, с которой ему на родине не пришлось бы сталкиваться. Фамильярность в обращении, когда к ней не примешивалось глупое чванство и когда она не приводила к недобросовестному выполнению обязанностей, никогда не оскорбляла меня, и мне почти не пришлось испытать на себе грубой бесцеремонности такого обращения. Раз или два оно проявилось весьма комично, как, например, в описанном ниже происшествии, — но это был лишь забавный случай, а ни в коей мере не правило.

В одном городе мне понадобилась пара башмаков; у меня были лишь знаменитые сапоги на пробковой подошве, чересчур жаркие для огнедышащих палуб пакетбота. И посему я отправил одному артисту сапожного дела записку, в которой приветствовал его и сообщал, что буду рад его видеть, если он будет столь любезен посетить меня. Он очень мило ответил, что «заглянет» в шесть часов вечера.

Примерно в указанное время я лежал на кушетке, читая книгу и потягивая вино из бокала, когда дверь отворилась и в комнату вошел джентльмен в стоячем воротничке, в шляпе и перчатках, на вид лет тридцати или около того; он подошел к зеркалу, поправил волосы, снял перчатки; не торопясь извлек мерку из самых недр кар-

мана своего пальто и томным голосом попросил меня отстегнуть штрипки. Я повиновался, с любопытством глядя на шляпу, которая все еще оставалась у него на голове. Возможно, поэтому, а возможно, из-за жары — он снял ее. Затем он сел на стул напротив меня; оперся локтями о колени и, низко нагнувшись, с большим усилием поднял с полу образчик столичного мастерства, который я только что снял, — при этом он приятно что-то насвистывал. Он без конца вертел сапог; разглядывал его с таким презрением, какое невозможно описать словами, и, наконец, спросил, не хочу ли я, чтобы он изготовил мне *подобный* сапог? Я любезно ответил, что меня интересует лишь, чтобы сапоги не были тесны, а остальное пусть он сам решает; если это удобно и практически осуществимо, то я не возражал бы, чтоб они в какой-то мере напоминали стоящую перед ним модель, но я во всем готов следовать его советам и предоставляю все на его усмотрение.

— Так вы, значит, не очень настаиваете на этом углублении в пятке, а? — говорит он. — Мы тут такого не делаем.

Я повторил свое последнее замечание. Он снова посмотрел на себя в зеркало; подошел поближе, чтобы вынуть из уголка глаза соринку и поправить галстук. Все это время моя нога висела в воздухе.

— Вы как будто готовы, сэр? — спросил я.

— Д-да, почти, — сказал он. — Не шевелитесь.

Я прилагал все усилия, чтобы не изменилось ни положение моей ноги, ни выражение лица, — а тем временем, вынув из глаза соринку, он отыскал свой карандаш, снял мерку и сделал соответствующие записи. Покончив с этим, он впал в свое прежнее состояние и, снова взяв сапог, некоторое время задумчиво разглядывал его.

— Это и есть английский сапог, верно? — сказал он наконец. — Это лондонский сапог, а?

— Да, сэр, — ответил я, — это лондонский сапог.

Он еще некоторое время размышлял над ним, словно Гамлет над черепом Иорика; затем кивнул головой, будто говоря: «Могу лишь пожалеть о том порядке, который привел к появлению таких сапог»; затем он встал, спрятал карандаш, свои заметки и бумагу, — все это время не переставая смотреться в зеркало, — и надел шляпу; медленно натянул перчатки и, наконец, вышел. Прошла ми-

нута после его ухода, как вдруг дверь открылась и снова показались его шляпа и его голова. Он оглядел комнату, потом снова посмотрел на сапог, все еще лежавший на полу, с минуту, видимо, подумал и затем сказал:

— Ну-с, всего хорошего.

— Всего хорошего, сэ, — сказал я.

И на этом наша встреча окончилась.

Я хотел бы сказать несколько слов еще по одному вопросу, — речь идет о национальном здравоохранении. В такой большой стране, где еще не освоены и не расчищены миллионы акров и где ежегодно на каждом клочке земли перегнивает масса растений, в стране, где так много больших рек и такое разнообразие в климате, в определенное время года неминуемо возникает великое множество болезней. Я беседовал со многими представителями врачебной профессии в Америке, и, осмелюсь заявить, я не одинок в своем мнении, считая, что можно было бы избежать большинства распространенных в Америке болезней, если бы все соблюдали некоторые меры предосторожности. Для этого необходимо создать более подходящие условия для внедрения личной гигиены; необходимо изменить порядок, когда люди трижды в день наспех проглатывают большие количества жирной пищи, а потом возвращаются к своим сидячим занятиям; слабый пол должен одеваться более разумно и уделять больше времени физическим упражнениям, — в последнем к женщинам должны присоединиться и мужчины. И прежде всего необходимо тщательно переделать систему канализации и удаления нечистот во всех общественных учреждениях и повсеместно в каждом городе и городишке.

Итак, я подошел к концу своей книги. Судя по тем предупреждениям, которые я получил после своего возвращения в Англию, у меня мало оснований полагать, что моя книга будет дружелюбно или благосклонно встречена американским народом, и так как я написал правду о тех людях, кто определяет его суждения и выражает его мнения, вы можете убедиться, что я не жажду при помощи каких-то вспомогательных средств снискать его рукоплескания.

С меня довольно сознания, что из-за написанного на этих страницах я не потеряю по ту сторону Атлантики

ни одного друга, который заслуживает этого имени. Что же касается остальных, то я полностью полагаюсь на то, в каком духе составлены и написаны мои заметки, и буду ждать благоприятного исхода.

Я ни словом не коснулся оказанного мне приема и не позволил ему повлиять на эти заметки, ибо в любом случае — по сравнению с тем, что я ношу в своем сердце, — это было бы лишь весьма скупой благодарностью за океанским читателям моих предыдущих книг, которые встретили меня с распростертыми объятиями, а не держа руку на стальном курке.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	3
Отъезд	7
К берегам Америки	17
Ворчестер. Река Коннектикут. Хартфорд. Из Нью-Хэвена в Нью-Йорк	34
Нью-Йорк	45
Филадельфия и ее одиночная тюрьма	66
Вашингтон. Законодательное собрание. Дом президента	83
Из Цинциннати в Луисвиль на одном пакетботе и из Луисвиля в Сент-Луис на другом. Сент-Луис	101
Рабство	114
Несколько слов в заключение	132

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Редактор *Н. Немчинова*
Худож. редактор *А. Ермаков*
* Техн. ред. *Г. Архангельская*
Корректор *В. Седова*

*

Сдано в набор 3/II 1950 г.
Подписано к печати 6/II 1950 г.
А 01377. Печ. л. 9. Уч.-изд.
л. 7, 12. Формат бумаги 84×108^{1/32}
Тираж 75 000 экз. Заказ № 2218.
Цена 2 руб.

*

3-я типография «Красный про-
летарий» Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР
Москва, Краснопролетарская, 16.

~~Изд. 1900~~

~~41504~~

~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА~~

150 =
~~2 руб.~~

К	К
---	---

Д-454

ГОСЛИТИЗДАТ
1950